

Иван Александрович Гончаров

## **Письма (1859)**

# Содержание

#1 .....	0005
Я. П. ПОЛОНСКОМУ Начало января 1859. Петербург .....	0006
В. П. БОТКИНУ 30 января 1859. Петербург ...	0008
И. С. ТУРГЕНЕВУ 28 марта 1859. Петербург ..	0010
И. И. ЛЬХОВСКОМУ 2 апреля 1859. Петербург .....	0022
М. Ф. ШТАКЕНШНЕЙДЕР 8 [?] апреля 1859. Петербург .....	0029
А. Н. МАЙКОВУ 11 апреля 1859. Петербург ..	0031
Е. А. ЯЗЫКОВОЙ 12 мая 1859. Петербург ....	0040
Л. Н. ТОЛСТОМУ 13 мая 1859. Петербург ....	0042
И. И. ЛЬХОВСКОМУ 20 мая 1859. Петербург ..	0045
П. В. АННЕНКОВУ 20 мая 1859. Петербург ...	0050
ГОНЧАРОВ и Ек. П. МАЙКОВА — Ю. Д. ЕФРЕМОВОЙ 28 мая (11 июня) 1859. Варшава .....	0056
Евг. Вл. МАЙКОВОЙ 8 (20) июня 1859. Мариенбад .....	0059
Ю. Д. ЕФРЕМОВОЙ 1 (13) июля 1859. Мариенбад ..	0063
А. А. КРАЕВСКОМУ 7 (19) июля 1859. Мариенбад ..	0072
Евг. П. и Н. А. МАЙКОВЫМ 7 (19) июля 1859. Мариенбад .....	0076

Ю. Д. и А. П. ЕФРЕМОВЫМ 29 июля (10 августа) 1859. Швальбах . . . . .	0081
Н.А. МАЙКОВУ 29 июля (10 августа) 1859. Швальбах . . . . .	0083
Н.А. и Евг. П. МАЙКОВЫМ 21 августа (2 сентября) 1859. Булонь . . . . .	0086
Н. А. и Евг. П. МАЙКОВЫМ 25 августа (6 сентября) 1859. Булонь . . . . .	0090
ГОНЧАРОВ и Ек. П. МАЙКОВА — Ю. Д. ЕФРЕМОВОЙ 26 августа (7 сентября) 1859. Булонь . . . . .	0093
Ю. Д. ЕФРЕМОВОЙ 28 августа (9 сентября) 1859. Булонь . . . . .	0101
А. Н. МАЙКОВУ 7 (19) сентября 1859. Дрезден . . . . .	0105
А. В., Е. А. и С. А. НИКИТЕНКО 20 сентября (2 октября) 1859. Варшава . . . . .	0107
А. Ф. ПИСЕМСКИЙ и И. А. ГОНЧАРОВ — А. Н. ОСТРОВСКОМУ Начало ноября 1859 г., Петербург . . . . .	0116
Н.А. ГОНЧАРОВУ 16 ноября 1859. Петербург .	0119
М.А. КОРФУ 2 декабря 1859. Петербург . . . . .	0121
М.А. КОРФУ 2 декабря 1859. Петербург . . . . .	0125

**Гончаров Иван  
Александрович  
Письма (1859)**

Гончаров И.А.  
Письма.1859

# Я. П. ПОЛОНСКОМУ

## Начало января 1859.

### Петербург

Напрасно Вы думаете, любезнейший Яков Петрович, что я уступлю А. И. Фрейгангу удовольствие подписать Аполлонову поэму: Вы не так поняли дело. Я еду к нему затем только, чтоб подписать поэму при нем, чтоб он не думал, что я "тихонько беру от Вас статьи и подписываю". Я в таком только случае уступил бы ему право подписать, когда бы он настоятельно этого потребовал: но он добиваться этого не станет: не всё ли ему равно? Не предупредить мне его неловко: он может подумать, что и Вы, и я хотели нарочно избежать его. Словом, я хочу соблюсти обычную вежливость и некоторую осторожность, чтоб не подать повода и т. д. и т. д. и т. д. Часа через два поэма будет в типографии и подписана мною без всякого изменения.

Извините, что так мерзко пишу: я еще в постели, не хочется встать. Но лишь встану — и прямо к Фрейгангу.

Кланяюсь Вам, а Елене Васильевне —  
вдвое ниже.

Ваш Гончаров.

Утешьте главного Вашего редактора: еще  
ни один журнал не вышел.

**В. П. БОТКИНУ**  
**30 января 1859. Петербург**

**30** января. Сейчас только получил я Ваше письмо, сладчайший Василий Петрович, и сейчас же посылаю Вам рекомендательное письмо к директору Кяхтинской т[амож]ни для Влад[имира] Петров[ича]. Я прилагаю и пакетик, чтобы Вы прежде прочитали, годится ли письмо; и если годится, то вложите в пакет, на котором есть и клей, чтоб закрыть его наглухо, без всякой печати. А если не годится, то напишите поскорей, что надо сказать в письме, и я пришлю другое (адрес мой в доме Устинова, а не Щербатова).

Видите, как мерзко пишу, не назовете "сладкопевцем", что делать: некогда! Кругом я обложен корректурами, как катаплазмами, которые так и тянут все здоровые соки и взамен дают геморрой. А Вы-таки не можете не читать "Обломова": что бы подождал до апреля! Тогда бы зорким оком обзрели всё разом и излили бы на меня — или яд, или мед —

смотря по заслугам.

Тургеневская повесть делает фурор, начиная от дворцов до чиновничьих углов включительно. — Я всё непокоен, пока не кончится последняя часть в апреле, только тогда вздохну свободно, а вчера еще сдал всего вторую часть в печать: теперь ее оттискивают. Неожиданно выходит, вместо 3-х, четыре части, несмотря на убористый шрифт "От[ественных] зап[исок]".

Сегодня мы обедали у Тургенева и наелись ужасно, по обыкновению. Вспоминали Вас и бранили, что Вы не здесь. Он всё по княгиням да по графиням, то есть Тургенев: если не побывает в один вечер в трех домах, то печален. Нового ничего нет.

В ожидании скоро видеть Вас, прощайте.

Жму Вашу руку

И. Гончаров.

В письме к Мессу я немного распространился о Вас: это ничего, лучше поможет.

# И. С. ТУРГЕНЕВУ

## 28 марта 1859. Петербург

28 марта 1859.

...А propos — о дипломатах и дипломатии. Садясь в вагон у Знаменья на станции и прощаясь со мной, Вы мне сказали: "Надеюсь, теперь Вы убедились (по поводу нашего разговора накануне), что Вы не правы", и потом прибавили Ваш обыкновенный refrain: "Спросите у N.N: когда я говорил ему о том-то и о том-то". Вы могли говорить об этом очень давно, и всё это ничего не значит. У меня и в бумагах есть коротенькая отметка о деде, отце и матери героя. Но говорить о четырех портретах предков (из письма) Вы не могли. Впрочем, всё это ничего не значит: я знаю, что внутренне Вы совершенно согласны со мной. С большой досадой пошел я домой. "За кого же он меня считает? — думал я, за ребенка, за женщину или за "юношу", как назвал меня вечером в тот день Анненков". Мне и хочется теперь сказать Вам: нет, я убежден в том, в чем сам убедился, что вижу и знаю, что

меня удивляет, волнует и заставляет поздно раскаиваться, и мне свидетельства свидетелей не нужно. Наш спор был тонок, деликатен и подлежал только суду наших двух совестей, а не NN, не П.П. Ужели Вы, явясь на этот спор с блестящей свитой, могли бы быть покойны и довольны собой потому только, что NN или ПП сказали бы: "Вы не правы". Как это можно: Тургенев не прав! Кто смеет подумать — это ложь и т. д., а между тем Вы в самом деле были бы не правы? Я не понимаю этого. Если б весь мир назвал меня убийцей и лгуном, а я бы не был убийцей и лгуном, я бы не смутился; точно так же, если б весь мир сделал меня своим идиолом "иисусиком христом", да если бы во мне завелся маленький червячок, — кончено дело: я бы пропал. Нет, если я накануне спорил осторожно и оставил арену, не дойдя до конца, не высказавшись весь, так это потому, что есть предметы слишком нежные, до которых трудно касаться, оттого, что у меня, у "жесточкого человека", есть мягкость там, где у других ее не бывает... Мне было неловко, я конфузился, только не от своей неправоты... Правда Ваша после этого, что

Ваши хитрости "сшиты на живую нитку", когда Вы мою мягкость и неловкость приняли за "убеждение в неправом споре". Нет, не поверил я Вам и в том, когда Вы так "натурально" уверяли меня, что будто литературное Ваше значение вовсе не занимает Вас, что Вы касаетесь его так, мимоходом, а что живет в Вас "старая мечта, старая любовь" и по ней тоскуете Вы, по неосуществлению ее. Простите, мне послышались в этих словах стихи:

*И знает Бог, и видит свет:  
Он, бедный гетман, двадцать  
лет...*

Дипломат, дипломат! Нет, давно и страстно стремились Вы — скажу к чести Вашей — к Вашему призванию и к Вашему значению: не сознаваться в этом было бы или постыдным равнодушием, или fatuitй.[1] Скажу более: Вы смотрите еще выше и, конечно, подыметесь очень высоко, если пойдете своим путем, если окончательно уясните, определите сами себе свои свойства, силы и средства. Вы скользите по жизни поверхностно, это — правда; но по литературной стезе Вы скользи-

те менее поверхностно, нежели по другому. Я, например, рою тяжелую борозду в жизни, потому что другие свойства заложены в мою натуру и в мое воспитание. Но оба мы любим искусство, оба — смею сказать — понимаем его, оба тщеславны, а Вы сверх того не чужды в Ваших стремлениях и некоторых страстей... которых я лишен по большей цельности характера, по другому воспитанию и еще... не знаю почему, по лени, вероятно, и по скромности мне во всем на роду написанной доли. У меня есть упорство, потому что я обречен труду давно, я моложе Вас, тронут был жизнью и оттого затрогиваю ее глубже, оттого служу искусству, как запряженный вол, а Вы хотите добывать призы, как на *course au clocher*. [2] Если смею выразить Вам взгляд мой на Ваш талант искренно, то скажу, что Вам дан нежный, верный рисунок и звуки, а Вы порываетесь строить огромные здания или цирки и хотите дать драму. Свое свободное, безгранично отведенное Вам пространство хотите Вы сами насильственно ограничить тесными рамками. Вам, как орлу, суждено нестись над горами, областями, городами,

а Вы кружитесь над селом и хотите сосредоточиться над прудом, над невидимыми для Вас сверху внутренними чувствами, страстями семейной драмы. Хотите спокойно и глубоко повествовать о лице, о чувстве, которых по быстроте полета не успели разглядеть, изучить и окунуться сами в его грусть и радость. В этом непонимании своих свойств лежит вся, по моему мнению, Ваша ошибка. Скажу очень смелую вещь: сколько Вы ни пишете еще повестей и драм, Вы не опередите Вашей "Илиады", Ваших "Записок охотника": там нет ошибок, там Вы просты, высоки, классичны, там лежат перлы Вашей музыки: рисунки и звуки во всем их блистательном совершенстве! А "Фауст", а "Дворянское гнездо", а "Ася" и т. д.? И там радужно горят Ваши линии и раздаются звуки. Зато остальное... зато создание — его нет, или оно скудно, призрачно, лишено крепкой связи и стройности, потому что для зодчества нужно упорство, спокойное, объективное обозревание и постоянный труд, терпение, а этого ничего нет в Вашем характере, следовательно, и в таланте. "Дворянское гнездо"... Про него я сам ничего не

скажу, но вот мнение одного господина, на днях высказанное в одном обществе. Этот господин был под обаянием впечатления и, между прочим, сказал, что когда впечатление мигает, в памяти остается мало; между лицами нет органической связи, многие из них лишние, не знаешь, зачем рассказывается история барыни (Варвары Павловны), потому что очевидно — автора занимает не она, а картинка, силуэты, мелькающие очерки, исполненные жизни, а не сущность, не связь и не целостность взятого круга жизни, но что гимн любви, сыгранный немцем, ночь в коляске и у кареты и ночная беседа двух приятелей — совершенство, и они-то придают весь интерес и держат под обаянием, но ведь они могли бы быть и не в такой большой рамке, а в очерке, и действовали бы живее, не охлаждая промежутками... Сообщаю Вам эту рецензию учителя (он учитель) не потому, чтоб она была безусловная правда, а потому, что она хоть отчасти подтверждает мой взгляд на Ваши произведения. Летучие, быстрые порывы, как известный лирический порыв Мицкевича, населенные так же быстро мелькающими лица-

ми, событиями отрывочными, недосказанными, недопетыми (как Лиза в "Гнезде") лицами, жалкими и скорбными звуками или радостными кликами, — вот где Ваша непобедимая и неподражаемая сила. А чуть эта же Лиза начала шевелиться, обертываться всеми сторонами, она и побледнела. Но Варвара Павловна — скажут — полный, окончанный образ. — Да, пожалуй, но какой внешний! У каких писателей не встречается он! Вы простите, если напомню роман Paul de Cock "Cocu"[3], где такой же образ выведен, но еще трогательный; там он извлекает слезы. Вам, кажется, дано (по крайней мере так до сих пор было, а теперь, говорят, Вы вышли на новую дорогу) не оживлять фантазией действительную жизнь, а окрашивать фантазию действительною жизнью, по временам, местами, чтобы она была не слишком призрачна и прозрачна. Лира и лира — вот Ваш инструмент. Поэтому я было обрадовался, когда Вы сказали, что предметом задумываемого Вами произведения избираете восторженную девушку, но вспомнил, что Вы ведь дипломат: не хотите ли обойти или прикрыть этим эпитетом дру-

гой... (нет ли тут еще гнезда, продолжения его, то есть одного сюжета, разложенного на две повести и приправленного болгаром? Если же я ошибаюсь, если это не то, то мне придется поверить Вам в том, что Вы, по Вашим словам, "может быть невольно, а не сознательно впечатлительны", и я приму это как данное, не достававшее мне для решения одного важного вопроса насчет Вашего характера). Если же это действительно восторженная, то такой женщины ни описывать, ни драматизировать нельзя; ее надо спеть и сыграть теми звуками, какие только есть у Вас и ни у кого более. Я разумею восторженную, как fleuriste[4] в "Андрей" у Ж. Занд. Но такие женщины чисты; они едва касаются земли, любят не мужчину, а идеал, призрак, а Ваша убегает за любовником в Венецию (отчего не в Одессу? там ближе от Болгарии), да еще есть другая сестра: "Та — так себе", — сказали Вы... Тут и всё, что Вы мне сказали.

Вечер длинен и скучен, и письмо вышло таково же, но что делать! Я откровенно люблю литературу, и если бывал чем счастлив в жизни, так это своим призванием — и говорю

это также откровенно. То же упорство, какое лежит у меня в характере, переносится и в мою литературную деятельность, да и во всё, даже в это письмо. Решите, пожалуйста, самому мне это трудно сделать и неловко, не есть ли эта кажущаяся жестокость во мне — только упорное преследование до конца, до последних целей, всякой мысли, всякого чувства, всякого явления в жизни, преследование, разводимое по временам (от старости и обстоятельств) желчью и оттого иногда несносное и мне самому, тем более другим, особенно людям мягким, не упорным, не навязывающим жизнь ни на что, не оборачивающимся назад и не глядящим вдаль. Им я покажусь всегда темен и тяжел и жесток. Иногда говорят: "какой это неприятный господин" про такого господина, который имеет убеждения и правила, верен им и последователен и упорен в своих намерениях, чувствах и целях. Но таков ли я в самом деле? Нет ли и во мне мягкости, но бережливо издерживаемой на что-нибудь путное?.. Впрочем, не знаю. Только знаю, что если меня что-нибудь приятно или неприятно взволнует, поразит

etc., я глубоко проникаюсь мыслью или чувством, враждой или (не ненавистью только, я не могу ненавидеть, тут у меня и упорства нет) намерением и — будто против воли несую свою ношу, упорно и непреклонно иду до цели, хотя бы пришлось и потерпеть. Ох, не раздражьте меня когда-нибудь и чем-нибудь. Вот с эдаким же упорством принялся я теперь составлять программу давно задуманного романа, о котором — помните — говорил Вам, что если умру или совсем перестану писать, то завещаю материал Вам, — и тогда рассказал весь. Теперь произошли значительные перемены в плане, много прибавилось и даже написалось картин, сцен, новых лиц, и всё прибавляется. Тем, что сделано, я доволен: Бог даст, и прочее пойдет на лад. Разбор и переписку моих ветхих лоскутков программы взяла на себя милая больная Майкова. "Это займет меня", — говорит она. Она до слез была тронута тою сценою бабушки с внучкой, сцена, в пользу которой Вы так дружески и великодушно пожертвовали похожим на эту сцену, но довольно слабым местом Вашей повести, чтоб избежать сходства. Чтоб посмот-

реть, благоприятно ли действует мысль, ход романа, судьба двух женщин (и у меня их две: Вы, конечно, помните, Вы так горячо одобрили тогда роман); я читал всё Дудышкину, сегодня рассказал только, но не успел прочесть всего Никитенке, может быть, покажу Писемскому и Дружинину, и если им мысль и характер героя не покажутся дики и неудобноисполнимы, а картины и сцены сухими или неестественными, то я, благословясь, примусь за дело, если вдохновение не покинуло меня, если так же легко будет за границей, как было в 1857 году, если... сколько если! В самом деле я "юноша", как меня насмех называл Павел Васильевич (не вследствие ли сообщенного ему Вами нашего разговора? Ох, Вы, две могилы секретов!). Ведь не 10 тысяч (на них мне мало надежды осталось) манят меня к труду, а стыдно признаться... я прошу, жду, надеюсь нескольких дней или "снов поэзии святой", надежды "облиться слезами над вымыслом". Ну, тот ли век теперь, те ли мои лета? А может быть, ничего и не выйдет, не будет: с печалью думаю и о том: ведь только это одно и осталось, если только осталось: как

же не печалиться! Прощайте, жму Вашу руку.

# И. И. ЛЬХОВСКОМУ

## 2 апреля 1859. Петербург

2/14 апреля 1859 года.

Милый, милый друг Иван Иванович! Неделю тому назад мы были обрадованы получением Ваших писем. Я понес свое к Старичку и Старушке, думая удивить их, а они приготовили мне тот же сюрприз. Я думал, что я уже вовсе не способен к поэзии воспоминаний, а между тем одно имя Стелленбош расшевелило во мне так много приятного: я как будто вижу неизмеримую улицу, обсаженную деревьями, упирающуюся в церковь, вижу за ней живописную гору и голландское семейство, приютившее нас, всё, всё. Точно так же известие о смерти Каролины произвело кратковременное чувство тупой и бесплодной тоски. Восхождение Ваше на Столовую гору — подвиг, на который я никогда бы не отважился. Не знаю почему, но мне невообразимо приятно знать, что Вы увидели и, может быть, увидите и еще места, которые видел и я. Меня даже пленяет эта разница во взгляде

Вашем с моим: Вы смотрите умно и самостоятельно, не увлекаясь, не ставя себе в обязанность подводить свое впечатление под готовые и воспетые красоты. Это мне очень нравится: хорошо, если б Вы провели этот тон в Ваших записках и осветили всё взглядом простого, не настроенного на известный лад ума и воображения и если б еще вдобавок уловили и постарались свести всё виденное Вами в один образ и одно понятие, такой образ и понятие, которое приближалось бы более или менее к общему воззрению, так, чтоб каждый, иной много, другой мало, узнавал в Вашем наблюдении нечто знакомое. Это значит — взглянуть прямо, верно и тонко и не заразиться ни фанфаронством, ни насильственными восторгами: именно, как Вы в немногих словах отозвались о Бразилии и мысе Доброй Надежды.

Между прочим, этот тон отнюдь не исключает возможности выражать и горячие впечатления и останавливаться над избранной, не опошленной красотой. Если я не сделал ничего этого, так это отчасти потому, что я, по своему настроению вообще, был искренен, и,

кроме того, потому, что этим настроением только и мог действовать на читателя, потому что в языке и красках я сильнее, нежели другим путем. А у Вас настоящий взгляд, направленный юмором, умным и умеренным поклонением красоте, и тонкая и оригинальная наблюдательность дадут новый колорит Вашим запискам. Но давайте полную свободу шутке, простор болтовне даже в серьезных предметах и ради Бога избегайте определенных и важничанья. Под лучами Вашего юмора китайцы, японцы, гиляки, наши матросы — всё заблещет ново, тепло и занимательно. Пишите, как пишете к Старику и ко мне. Даже не худо, если б Вы воображали нас постоянно перед собою. Abandon,[5] полная свобода — вот что будут читать и поглощать. Arrgoros, чтоб не забыть. Я сказал Краевскому, что получил от Вас письмо, и он, не дав мне договорить, спросил быстро: "А что ж, прийдет ли он что-нибудь в "Отеч[ественные] записки"?" — "Ничего не пишет об этом", — был мой ответ. — "Так попросите его, пожалуйста, от меня!" — заключил он. Передаю Вам с математическою точностию его слова и ничего

к этой просьбе не прибавлю. Вы сами знаете, как полезно поместить что-нибудь в журнале, но советую также дать в то же время статью и в "Современник": эти два журнала обеспечивают репутацию Ваших записок. В "Библиотеку для чтения" — само собою разумеется — тоже дадите, ибо редактор, только что примирившийся с Вами, не простил бы этого. На что хуже записок Лакиера, а и те были замечены, чему были обязаны единственно тем, что появлялись в этих журналах. Прежде всего, конечно, Вам следует послать в "Морской сборник", и не одну статью, даже все морские, касающиеся плавания статьи, а сухопутными можете располагать по произволу: так тогда и великий князь разрешил. Вы можете через Морское министерство адресовать статьи в журналы на мое имя, а я стану наблюдать за их печатанием и, пожалуй, копить деньги. Назначьте и цену: не знаю, дадут ли только более 60 рублей. А впрочем, напишите, что Вы хотите. Да кстати, когда будете посылать статьи в Морское министерство, напишите письмо к Н. К. Краббе: я встретил его в опере, мы разговорились про Вас. Я упо-

мянул, как Вы ему благодарны, и он заметил сам: "Да, правда, мне удалось кое-что для него сделать". Поблагодарите его и издалека. "Об ухаживаньи, о благодарности" и о прочем Вы наговорили много тонких пустяков. Я, кажется, доказал Вам, что и я не меньше ухаживал за Вами, а Вы только начали, и если б было справедливо всё, что Вы пишете, то мы недолго были бы в ладу. Я уже решил, что я никуда не поеду, устарел, бегаю от людей, прячусь, и всё мне надоедает. Если кротчайший Старик, милая Старушка и даже друг мой Женичка подчас тяготят меня, то, конечно, должна была отразиться эта брюзгливость и на Вас. Но что мне прискорбно было, так это то, что и Ваш характер начал как будто рано портиться, Вы стали нетерпеливы, иногда желчны и резки, следствие мелких ожесточений, развитие ума и вкуса и ограниченность средств и истекающее из этого шипение постоянно подавляемой и оскорбляемой гордости и самолюбия. У меня сначала было то же, то есть те же причины, а когда они прошли, явилось противоположное: пресыщение всем этим и вместе притупление воображения, этого гос-

подствующего в моей особе начала. Странствуйте же с уверенностью, что за Вами с участием следят тепло и сильно за Вас бьющиеся сердца и ждут с величайшим нетерпением минуты возвращения. Надо Вам сказать, что Старик, Старушка и я — шалим, именно, ни больше ни меньше, как едем за границу. Я желал бы, чтоб Вы подслушали тот голос, каким сказаны были вырвавшиеся у меня слова: "Ах, если б с нами был Лъховский!", желал бы и для Вас и для себя! Вас удивит это известие: Екатерина Павловна собирается писать Вам об этом подробнее, а я только прибавлю, что они едут в Киссинген, а я на прежнее место, в Мариенбад, и потом желал бы соединиться с ними на Рейне и в Париже. Мне хочется повторить лечение и, ах, если б можно было, и писанье нового романа... Но... но... много но: сейчас скажу всё, прежде кончу о путешествии. Старушку уложили в постель года на два; у ней повторялись воспаления, теперь нет, и она стала пободрее с тех пор, как явилась надежда ехать за границу. Дело, конечно, без натяжек не обошлось. Вы знаете Старушку, как она умеет склонить на свою

сторону всякого, даже и доктора. Спора нет, что воды могут быть ей полезны, но как она вынесет дорогу, особенно до Варшавы, я не понимаю. Желание ее ехать возросло до лихорадки, и если ее не пустить, то, кажется, это повредит ей пуще дороги. Довольно того, что она реша...[6]

# М. Ф. ШТАКЕНШНЕЙДЕР 8 [?] апреля 1859. Петербург

Теперь я окончательно убедился, что доброе дело без награды не остается: какие милые выигрыши! Но мне хочется посеять еще больше семян, чтобы в будущем году стяжать еще лучшую награду, во-первых, у Вас на предлагаемой с Евгенией Петровной лотерее, а во-вторых, на небеси. Поэтому позвольте, Марья Федоровна, возвратить нынешние мои выигрыши с просьбой обратить их на будущую лотерею. Прилагаю также "Обыкновенную историю" для минувшей лотереи и "Фрегат "Палладу"" для будущей, присовокупляя торжественное обещание принести на алтарь добродетели и экземпляр "Обломова", если он будет уже к тому времени напечатан.

Очень жалею, что Николай Андреевич не застал меня: по его обещанию, я ждал его накануне. Рукопись его, подписанная мною, отправлена в Цензурный комитет для приложения печати; там можно получить ее во всякое время.

Свидетельствую мое почтение Вам, Андрею Ивановичу и всем Вашим; перед Еленой Андреевной, кроме того, извиняюсь в том, что почерк нехорош, хотя я и старался.

И. Гончаров.

1859 г.

# А. Н. МАЙКОВУ

## 11 апреля 1859. Петербург

**11** (23) апреля 1859.

Любезнейший друг Аполлон Николаевич. — Увидев Ваш почерк на адресе, я с унынием развернул письмо: "не разберу ни слова!" — думал я. Каково же было мое удовольствие и удивление, когда я — не прочитал, а пробежал письмо в пять минут. Давно бы Вам вспомнить меня на письме, и Вы получили бы не одно известие о том, о другом и о третьем. Ведь я на пароходе, прощаясь, ясно сказал Вам, "что всякий отъезжающий обязан напоминать о себе кругу, из которого выбывает, ибо один всегда нуждается в памяти целого круга": так я поступал всегда и так обязываю каждого поступать. Это не... не... как бы это сказать... не кичливость, а упрямство, упорство, то есть соблюдение некоторых форм, неизбежных даже в нравственной жизни. Одному целый круг дорог, но редко, даже почти никогда — один дорог целому кругу не бывает, а если когда и показывают кому-ни-

будь это, то есть что всё оставленное им грустит о нем день и ночь, постоянно стремится к нему и не находит ни в чем ему замены — так притворяются; это обыкновенно делается с богатыми, сильными и т. п. лицами, которых хотят обманывать. Вас никто так не обидит, хотя скажу Вам по-восточному, что "Ваше место не занято". Недавно давали Мартынову обед литераторы, и при этом сказано было, что, за исключением Майкова, вся литература — налицо. В самом деле были все. О Григоровиче не поминали: видно, он не очень нужен.

Ваше напоминание "не забывать стариков" напрасно: часто вижу я их то у них, то у Старика — и сегодня обедал у Вас, у Юсупова сада. Сегодня Страстная среда, и маменька дала постненького пирога, грибков, одной рыбки, другой рыбки, третьей рыбки, одного варенья, другого варенья, третьего варенья, одной наливки, другой наливки и третьей наливки, и так без конца. Я радуюсь, как Ваш родной брат, что у нашего общего — так сказать — идола, старца, лицо свежо, что он бодр, и на днях он отделал выигранную мною

у них на лотерее (в пользу Марковецкой) головку — так, как не писал и в лучшие годы.

Вы хотите, чтоб я сказал о Вашей поэме правду: да Вы ее слышали от меня и прежде. Я, собственно я — не шутя слышу в ней Данта, то есть форма, образ, речь, склад — мне снится Дант, как я его понимаю, не зная итальянского языка. Но говорят о нем — скажу откровенно — мало, даже не помню, говорили ли что-нибудь печатно. Причина этому, конечно, Вам понятна: поэма не вся напечатана, из нее вырезано сердце, разрушена ее симметричность, словом, она искажена и со стороны архитектуры, и со стороны мысли, а ведь она вся построена на двух столпах, на двух, так сказать, основаниях, и вдруг один столп отсутствует; от этого целое производит такое же впечатление, как Кельнский собор: будет или было бы что-то грандиозное, да всё это осталось в замыслах или в рисунках зодчего. Поэтому, ничто так сильно не доказывает Вашего искреннего и горячего служения искусству, как эта поэма: Вы создавали, не заботясь о цензуре, о печати, Вы были истинный поэт в ней — и по исполнению, столько же и по на-

мерению.

Жалею очень, что Вы не пишете записок вояжа, а надо. Читая теперь Ваше письмо, с этим свободно-играющим настроением, приправленным юмором, мыслью и легким изложением, я с досадой думаю: "Да отчего ж он не пишет так о море, о моряках, о корвете, о берегах, встречах, о самых этих видах, которые он ругает?" Ведь это и нужно; порой навернулось бы серьезное замечание, трогательный звук, игривый мотив, потом округлять бы эти письма — вот и статьи! Пусть бы писали Вы письма к нам ко всем вдруг или по очереди — и не тратили бы в частных письмах драгоценных заметок, например, вроде описания бегавшего от Вас аббата в Палермо и т. п. А сколько бы, в промежутках этих заметок, — мелькнуло у Вас видов, силуэтов разных лиц, наши моряки в чужой стране — всё, всё! Мало ли! Посмотрите, мертвый зять Плетнева, Лакиер выписал всё из Банкрофта — и тот успел! Так жаждут у нас путешествий! Помните, что моя "Паллада" — уже напечатанная по журналам почти вся разошлась! Пишите же — и скорей; схваченные

наблюдения тотчас записывайте, а то простынут, и тут обдeldывайте путевую записку из всякой стоянки, даже двухдневной! А говорить об Италии, о Греции — всё это не цель такого путешествия! Море и берега — Ваша поэма, а прочее — роскошь.

Насчет "Обломова" Вы упрекнули меня напрасно, то есть что я читал его при Григоровиче, а Вам не читал. В Вас я заметил давно нерасположение к слушанию длинных вещей; еще при чтении моих путевых записок Вы как-то уклонялись более ко сну; мне просто было совестно звать Вас на чтение, да и самолюбие шептало: "Придет — он, пожалуй, придет, да внутренне будет ругаться, а в другой вечер еще и вовсе не придет, тогда станет досадно". Григорович же подвернулся тогда, и я в другой вечер его не пригласил. А кстати: что он? Про него здесь носятся какие-то сомнительные слухи; от одного, от другого сановника Морского министерства слышишь: "Ох, скверная штука, как-то уладится: скверно, очень скверно!" Что он наделал? Признаюсь, я с унынием услышал о назначении его к великому князю: он огадит перед

в[еликим] к[нязем] не только литераторов, но и всю литературу, во-1-х, уронит своей особой, а во-2-х, наврет, насплетничает. Хоть бы Вы предупредили там, что здесь он потерял всякую веру и давно слывет за шута.

Заключу сказание об "Обломове" известием, которому, знаю, Вы дружески порадуетесь: доселе вышли три части (4-я выходит завтра) и встречены были, особенно 2-я часть, с неожиданным для меня благоволением. Успех если не больше, так равный успеху "Обыкн[овенной] истории". Особенно утешительные вести получаются из Москвы. Не знаю, что скажет печатная критика: я думаю, не много хорошего. Во-1-х, меня не любят за... характер, то есть что у меня есть какой-нибудь характер, не искательный, не подладливый; угрюмость мою, охлаждение от лет принимают за гордость и не прощают мне этого, не прощают резкости; притом я цензор, лицо не популярное. Редакции, кроме "Отеч[ественных] зап[исок]", "Библ[иотеки] д[ля] чтения" да отчасти "Современника", меня не жалуют, московские в особенности. Тургенев, независимо от сильного таланта, мя-

гок, готов сидеть со всяким, всюду идет и в салон Кушелева и к Плещееву, во всех редакциях — идол. Я не умею и не могу, потому, между прочим, что у меня вся жизнь пронизана каким-нибудь самостоятельным — может быть и уродливым, — но своим взглядом, идеею, воззрением, притом упорным, последовательным и верным себе воззрением. От этого я для всех почти, за исключением немногих друзей, "неприятный господин". Но пусть! Я, между прочим, имею кое-что общее с Вами в искреннем и горячем служении своему призванию и в этом служении не опираюсь ни на какие посторонние ему столбы. Пойдемте же по нашей дороге, не смущаясь ничем.

Старик и Старушка едут в Киссинген, Вы это конечно знаете; я тоже прошусь в Мариенбад, и если всё устроится по нашему желанию, то мы отправимся в одном мальпосте до Варшавы.

А отчего Вы не написали ничего об Анне Ивановне? где она и здорова ли? Поцелуйте у ней ручку. Что дети? А куда к Вам писать: ведь Вы теперь на волкане — и буквально и фигурально.

Вы спрашивали меня, что новый комитет? Не знаю, право. Мне предложена была честь принять в нем участие, в качестве управляющего канцелярией и, кажется, совещателя, но — гожусь ли я? Я поблагодарил и уклонился, указав им на Никитенко, который знает и любит литературу. Вследствие этого комитет, как я слышал, благосклонен к литературе и, кажется, затевает отличное дело — издавать газету, орган правительства, в которой оно будет действовать против печатных недоразумений (я не говорю злоупотреблений, как некоторые называют: при ценсуре их быть не может) также путем печати и литературы: дай Бог! Авось тогда уймутся те господа, которые, чуя за собой грешки и боясь огласки, кричат: разбой, пожар! и бегут жаловаться и пугают чуть не преставлением света, оттого что ругают взятки или робкий и почтительный голос осмелится указать недостатки какого-нибудь административного распоряжения.

О ценсуре что сказать: прибавлено два цензора. Фрейганг — о чудо! говорят, выходит в отставку. Все литераторы наши разъеха-

лись: целую зиму был ряд обедов то у того, то у другого. Тургенев уехал с большим триумфом. Повесть его произвела огромный успех. Писемский тоже продолжает собирать дань; роман его разобран печатно, и везде хорошо. Стихов нет; Фет мало печатал. Островский написал прелестнейшую комедию "Воспитанница". Мне предлагали опять преподавать словесность, но, по совести, я не мог, при моих занятиях, взять на себя такой важный труд — и дело разошлось. Прощайте, милый друг, будьте здоровы, пишите и не забывайте стариннейшего из Ваших друзей

И. Гончарова.

**Е. А. ЯЗЫКОВОЙ**  
**12 мая 1859. Петербург**

**В**нимание Ваше, добрый друг Екатерина Александровна, трогает меня до глубины души: но в дружбе Вашей я был уверен всегда и потому позвольте принять приношение Ваше как знак внимания к "Обломову"; это — большая отрада для моего авторского самолюбия, и Вы выразили его и щедро прекрасной вазой, и грациозно — милым письмом.

Выражением же дружбы Вашей пусть послужит портрет: не заметив его сначала, я быстро обратился с вопросом к человеку: "а портрета нет?" — и в ту же минуту увидел его. На днях собиралась к Вам Юния Дмитр[иевна], и я поручал ей взять его у Вас.

Я теперь теряю голову: кажется, не должно быть хлопот, а между тем много: то с деньгами, то с службой, с которой я еще не разделался. Но несмотря на то, я сегодня утром уговорился уже с Меньшиковым быть у Вас в субботу вечером, если только погода не изменит. Может быть даже, в случае очень хорошей

погоды, я приеду и к 5 часам: только не ждите долго и не стесняйтесь, если бы Вы вздумали сами обедать не дома, и кроме каши не велите готовить ничего, потому что наверное сказать не могу. Если буду обедать, то Меншиков придет в 8 часов один.

Во всяком случае, в субботу ли или после субботы, но я не уеду, не простясь и лично не поблагодарив за прелестный, прелестный подарок. Жалею, что Михайло Александров[ич] не застал меня.

Элликониде Александровне кланяюсь и, если не с собой принесу, то пришлю "Фрегат "Палладу"".

Целую Ваши ручки

И. Гончаров.

12 мая 1859 года.

# Л. Н. ТОЛСТОМУ

## 13 мая 1859. Петербург

13 мая 1859 года.

Давно я собирался, граф Лев Николаевич, сказать Вам душевное спасибо за ласковое слово об "Обломове", адресованное ко мне рикошетом через письмо Александра Васильевича. Но, поверите ли, едва выискал свободные полчаса, и то ночью, написать эти строки, чтобы вместе и проститься перед отъездом за границу. Слову Вашему о моем романе я тем более придаю цену, что знаю, как Вы строги, иногда даже капризно взыскательны в деле литературного вкуса и суда. Ваше воззрение на искусство имеет в себе что-то новое, оригинальное, иногда даже пугающее своей смелостью; если не во всем можно согласиться с Вами, то нельзя не признать самостоятельной силы. Словом, угодить на Вас нелегко, и тем мне приятнее было приобрести в Вас доброжелателя новому моему труду. Еще бы приятнее мне было, если б Вы не рикошетом, а прямо сказали и о моих промахах,

о том, что подействовало невыгодно. Особенно полезно бы было мне это теперь, когда я желал бы попробовать еще раз перо свое над одной давно задуманной штукой. И если время, расположение духа и разные обстоятельства позволят, я и попробую. Я желал бы указания не на случайные какие-нибудь промахи, ошибки, которые уже случились и, следовательно, неисправимы, а указания каких-нибудь постоянных дурных свойств, сторон, замашек, аллюр и т. п. моего авторства, — чтобы (если буду писать) остеречься от них. Ибо, как ни опытен автор (а я признаю за собой это одно качество, то есть некоторую опытность), а всё же ему одному не оглядеть и не осудить кругом и с полнотой самого себя. Но, может быть, такое домогательство с моей стороны превышает меру Вашего доброго ко мне расположения, и потому я позволяю себе только выразить это желание, а домогаться не решаюсь.

Еду я 22-го мая, то есть через неделю с небольшим, и сам вижу, как с каждым днем розовая перспектива поездки всё бледнеет. Война, затруднение с переводом денег, неиз-

вестность, что будет, — всё это отравляет путешествие, но еду, потому что давно задумал ехать, а я, между прочим, бываю иногда упорен, чуть ли не как Тарас Скотинин, — что задумаю, то, кряхтя и охая, и несую, как тяжкий крест, хотя бывает иногда нужно только шевельнуть пальцем, чтоб сбросить его с себя. Притом оставаться здесь еще летом — наказание, которого никому не желаю испытать. Если это письмо застанет у Вас Александра Васильевича, поклонитесь ему.

Если бы Вы вздумали сказать мне слово в ответ, то я только до пятницы (22 мая) проживу здесь. Дня через три надеюсь, несмотря на все хлопоты, прочесть начало Вашего романа, о котором мне уже говорили с нескольких сторон. Но жаль, что не узнаю долго продолжения.

Прощайте, Лев Николаевич, желаю доброго здоровья и скорого по возможности свидания с Вами здесь. Искренно преданный

И. Гончаров.

Живу я на Моховой улице, в доме Устинова.

# И. И. ЛЬХОВСКОМУ

## 20 мая 1859. Петербург

**20** мая 1859 года. С.-Петербург

Не хочется уехать за границу, не прощаясь с Вами, любезнейший друг Иван Иванович. Мы, то есть Старик со Старушкой, я и Катя, едем в почтовой карете 22-го мая, то есть через три дня, в Варшаву. Они в — Эмс, я в Мариенбад, а если не пустят туда по случаю войны и подозрительности австрийского правит[ельства] относительно России и славянских земель, — то в Виши (Южную Францию). В конце сентября мы должны возвратиться. Старушка стала пободрее от одной мысли ехать за границу и видеть новое. Но не знаю, как она вынесет путь до Варшавы, когда и я, проехав туда пятеро суток в карете, три ночи сряду кричал благим матом от судорог в ногах. Но довольно об этом: что Бог даст!

А вы что? Скоро ли назад? Дружинин на днях справлялся очень заботливо о Вас и говорит, что лишь только приедете, он отдаст Вам в заведование весь критический отдел в

"Библиотеке] д[ля] чтения".

Перед этим я писал Вам еще письмо тоже в Николаевск, от марта или апреля, не помню. Евгения Петровна всё хворает поносом и желчью: это бы давно прошло, если б она не была в постоянном ужасе, что это у нее холера. Они с Ник[олаем] Апол[лоновичем] и с детьми наняли на 16 версте Петергофской дороги дачу, Кашкаровы там же. Аполлон, кажется, удрал с корвета под предлогом болезни, и, соединясь в Дрездене с Анной Ивановной, приедут сюда. Он говорит, что написал одну дрянную статью о Неаполе, а Григорович напечатал статью в "Морском сборнике", но, говорят, плохую. Я читал две первые страницы, и мне показалось бойко написано.

В Ваши именины мы — то есть Юния Дм[итриевна], Анна Ром[ановна] и я (еще Солоницын), собрались у Старика, поели и выпили бутылку шампанского; ждем Вас нетерпеливо и встретим торжественно. Юния Дм[итриевна] едет на Безбород[кину] дачу.

Тургенев недавно уехал за границу на лето. У нас было с ним крупное объяснение по поводу двух моих неласковых писем к нему.

Но кончилось прочным, кажется, миром. Он даже предложил и усиленно просил меня — взять от него письмо, в котором говорит, что план нового моего романа был пересказан мною ему года четыре тому назад, прежде нежели он задумал о своей повести, даже сознался, что сходство есть и что, вероятно, у него многое бессознательно осталось в памяти. Конечно, если я напишу роман, то такое письмо может оградить меня от подозрения.

"Обломов", по выходе всех частей, произвел такое действие, какого ни Вы, ни я не ожидали. Увлечение Ваше повторилось, но гораздо сильнее, в публике. Даже люди, мало расположенные ко мне, и те разделили впечатление. Оно огромно и единодушно. Добролюбов написал в "Современнике" отличную статью, где очень полно и широко разобрал обломовщину. Мне приятно сказать Вам, что ничьи отзывы, ни изустные, ни печатные, не выходят из круга Вашей оценки. Все вертятся на ней или около нее. Какая потеря для меня, что Вас нет здесь. Теперь Вы могли бы дать полную волю Вашему перу, не опасаясь укоризны в пристрастии. Словом, я теперь име-

нинник. Одно только неудобно: многие хотят познакомиться, и потом то, что с кем я ни встречусь, непременно заговорят об этом. Конечно когда жар спадет, начнут и ругаться, особенно в Москве, хотя там же страстно приветствовали первые две части. Но там живут славянофилы, а Штольц — немец. Кстати, один из главных славянофилов, старик Аксаков, умер.

Пишите ко мне на мою квартиру, в дом Устинова. Виктор Мих[айлович] поселяется в ней, и я дам ему адрес, куда посылать ко мне письма. По ценсуре — важное обстоятельство — Фрейганг вышел в отставку: его заменил Ярославцев, секретарь.

Еду я и беру программу романа, но надежды писать у меня мало: потому что герой труден и необдуман, и притом надо начинать. Если напишу начало, то когда будет конец? Здесь, в службе, и думать нельзя. И так приливы одолели. Пишете ли Вы? Пишите, ради Бога, больше, вольнее и произведете эффект. Что Вы не прислали ничего из Сингапура или Гон-Конга? Хоть бы записочку о себе! Пишите больше и чаще к нам. Вы не можете предста-

вить себе, сколько дружбы, симпатии, всякого единомыслия и единочувствия бережется — конечно в тесном, но истинно любящем Вас кружке. Да и прочие, не такие близкие к Вам люди, вспоминают Вас с завидным чувством расположения. Будьте здоровы, друг, счастливы и верьте никогда и ни от чего неизменной дружбе Вашего

И. Гончарова.

Извините, что письмо беспорядочно и отрывочно: я в лихорадке хлопот и сборов. Кла-няйтесь Вашему командиру.

Великий князь К[онстантин] Н[иколаевич] возвращается на днях из путешествия своего в Петербург. В Европе суматоха, все ждут чего-то важного. Екатерина Пав[ловна] всё спрашивает, не опасно ли ехать туда.

# П. В. АННЕНКОВУ

## 20 мая 1859. Петербург

20 мая 1859. Петербург.

Пишу к Вам, любезнейший Павел Васильевич, не потому только, что обещал написать, прощаясь, а потому еще, что явилось желание сказать слова два, которые как будто заменяют отчасти удовольствие повидаться. — Осталось только два дня до моего отъезда, и я не могу сладить с лихорадкой ожидания, сборов, прощаний: всё это проходит, лишь сядешь в экипаж.

Без Вас здесь ничего особенного не случилось, кроме того, что все разъехались по разным местам. Дружинин в Туле у Толстого, Некрасов и Панаев на даче, Тургенев... проводили и Тургенева, этого милого всеобщего изменника и баловня. Теперь, вероятно, он забыл всех здешних друзей, до Ореста включительно, и радуется тамошних, которые с появлением его конечно убедились, что, кроме их, у него никогда других не было в уме: в такой степени обладает он этою мягкою, магиче-

скою привлекательностию. Но Вы знаете это лучше меня, Вы, пользующиеся его — в самом деле особенною симпатиею, насколько он только способен обособиться в этом отношении. Мы с ним как будто немного кое о чем с живостью поспорили, потом перестали спорить, поговорили покойно и расстались, напутствовав друг друга самыми дружескими благословениями у Дюпон и у Дюсо.

Сегодня я должен был обедать в Петергофе у "Современников", но хлопоты одолели, и я попал вечером к Писемскому на Безбородкину дачу. Он пишет драму, один акт которой читал всем оставшимся после Вас, между прочим, и Тургеневу. Драма из крестьянского быта: мужик уезжает в Питер торговать, а жена без него принесла ему паренька от — барина. А мужик самолюбивый, с душком, объясняется с барином, шумит; жена его не любит, но боится.

Силы и природы пропасть: сцены между бабами, разговор мужиков — всё это так живо и верно, что лучше у него из этого быта ничего не было. Конечно, местами резко и не без цинизма, но это будет, вероятно, сглажено если

не им, то ценсурою. А прогос о ценсуре: теперь, надеюсь, Вы мне за ужином у Писемского не будете делать сцен: Фрейганг вышел в отставку, вместо его назначен секретарь комитета Ярославцев.

А вот Вам нечто свеженькое и любопытное о Некрасове. Дюма в своих записках рассказал содержание того стихотворения Некрасова, где описана история Воронцовой-Дашковой, и, должно быть, не очень ловко выразился о французе, который был в связи с графиней, да еще, может быть, сослался на Некрасова. Я сам не читал и не знаю, но знаю только, что француз этот счел себя обиженным и нарочно приехал сюда требовать у Некрасова удовлетворения. Но прежде он, кажется, хочет дать тему, как написать оправдание в "Современнике" или, может быть, в другом журнале его поступка с графиней и вызвать Некрасова тогда только, когда он откажется это сделать. Не знаю, что из этого выйдет.

Получаете ли Вы журналы? Взгляните, пожалуйста, статью Добролюбова об "Обломове": мне кажется, об обломовщине — то есть о том, что она такое, уже сказать после этого

ничего нельзя. Он это, должно быть, предвидел и поспешил напечатать прежде всех. Двумя замечаниями своими он меня поразил: это прониканием того, что делается в представлении художника. Да как же он, нехудожник, — знает это? Этими искрами, местами рассеянными там и сям, он живо напомнил то, что целым пожаром горело в Белинском. После этой статьи критику остается — чтоб не повториться — или задаться порицанием, или, оставя собственно обломовщину в стороне, говорить о женщинах. Такого сочувствия и эстетического анализа я от него не ожидал, воображая его гораздо суше. Впрочем, может быть, я пристрастен к нему, потому что статья вся — очень в мою пользу. А несмотря на это, все-таки я бы желал Вашей статьи в "Атенее" или где-нибудь, потому что Вы или у Вас есть своя тонкая манера подходить к предмету, и притом Ваши статьи не имеют форменного журнального характера. Впрочем, судя по Вашей лени, а может быть и по другим причинам, это так и останется желанием, но желанием, спешу прибавить, бескорыстным, потому что на большое одобрение с Вашей

стороны я бы не рассчитывал, ибо Вы были самым холодным из тех слушателей, которым я читал роман. А если желаю Вашего разбора, так только потому, что Вы скажете всегда нечто, что ускользает от другого, и, кроме того, я жадно слушаю все отзывы, какие бы они ни были, в пользу и не в пользу, потому что сам не имею еще ясного понятия о своем сочинении.

Андрей Алекс[андрович] трудится над новым произведением своей музы: надстраивает 4-й этаж над своим домом.

Вот и не уписалось: не достало места проститься с Вами и пожелать Вам здоровья, а себе — свидания осенью в Петербурге. Будьте же здоровы и не забывайте искренно преданного

И. Гончарова.

Поклонитесь Корневым, а Вам кланяются молодые Майковы, узнав, что я собираюсь к Вам писать. Я еду с ними в одной карете до Варшавы и, надеюсь, до Дрездена вместе, а там они — в Эмс, а я — если пустят — в Мариенбад, а нет, так в Виши, по совету доктора.

Вчера видел Никитенко: ему дали звезду и

ленту через плечо, но — honny soit qui mal y  
pense[7] — от министерства, а не из известно-  
го комитета. Министр уехал, действует за  
него Муханов: не знаю, что будет.

**ГОҢЧАРОВ и Ек. П.  
МАЙКОВА — Ю. Д.  
ЕФРЕМОВОЙ  
28 мая (11 июня) 1859.  
Варшава**

**28** мая / 11 июня.  
Имея свободную минутку, я уселся подле Старушки и, видя, как она торопится строчить множество писем к папенькам и маменькам, я взялся разделить ее труд и вместе с нею кинуться прямо отсюда к Вам в объятия. Мы ехали не только благополучно, но весело, счастливо. Колебание экипажа производило на Старушку (я говорю прежде всего о ней, потому что она самый главный и нежный предмет общих наших попечений) благоприятное [действие], то есть усыпляло; она мало уставала, выдерживала отлично и не соскучилась. Что касается до нас с Стариком, то мы тоже прибыли благополучно, но только с попорченными отчасти задами и белыми языками, что надо приписать жару и пятидневному сиденью на одном месте и одним

местом. На одной станции, вообразив, что везде так же холодно, как в Петербурге, я закутался в теплую шинель, меня начал давить домовой, и я огласил часть Литвы медвежьей арией, на которую продолжительным смехом отвечала Старушка.

Мы сегодня со Стариком бегали по городу по делам, я гулял в Саксонском саду и должен сознаться, что я, в споре с Вами, напрасно прицал Саксонский сад: он лучше Летнего своими каштанами. Через два часа мы едем по железной дороге на Бреславль, где надеемся быть завтра.

Обнимаю Вас, сладчайший друг, а Вы обнимите Алекс[андра] Павловича и Лялю. Кланяйтесь Писемским, Анне Романовне, также Боткину и Анненкову.

Всегда Ваш

И. Гончаров.

Мне ужасно лень ехать дальше. Назад бы!

Милая Юничка, голубчик мой, целую тебя крепко-крепко, буду писать тебе много из Дрездена, куда будем в субботу. Теперь не взыщи, ужасно спешим, уезжаем в 5 1/2 часов по железной дороге. Я доехала лучше, нежели

ожидала, благодаря отличной дороге и постельке. Прощай, Юничка! целую тебя и Гуличку, пишу мало тебе, но чувствую много любви к тебе, моя милая Юничка. Володя целует вас всех. Кланяйся Александру Павловичу.

Твоя Катя М.

**Евг. Вл. МАЙКОВОЙ**

**8 (20) июня 1859. Мариенбад**

8 / 20 июня[8]. Мариенбад.

Давно бы я написал тебе, милый друг мой Женичка, еще из Дрездена, да мамаша твоя взяла из моей комнаты чернильницу и задержала у себя, а время между тем прошло. Но всё равно, я знаю, ты не рассердишься на меня. Вероятно, ты уже знаешь из писем мамаша, что мы добрались до Дрездена благополучно, только мамаша очень уставала на железных дорогах, особенно по ночам, но отдохнув, особенно уснув хорошенько, чувствовала себя хорошо. Вообще, кажется, она в покое, в тепле, при более правильном, нежели у нас, образе жизни может легко поправиться. Мы с твоим папашей всё пили вино, и я от этого — должно быть — нажил себе страшную изжогу. Здесь доктор нашел у меня большую опухоль печени и неправильность в кровообращении и пищеварении. Завтра начну лечиться, пить воды и брать ванны из грязи. Он велит мне пить по стакану вина за обедом, но я

отказался наотрез; еще посылает меня в море купаться после вод, но мне не хочется, лень, да притом я знаю, что не вылечусь от своих лихих болестей. В Дрездене мы прожили пять дней, потом уехали в Лейпциг, ночевали там и разъехались: я в Мариенбад, а папаша с мамашей в Эмс. Дядя Аполлон и тетя Анна с детьми остались в Дрездене: все они кашляют, как Вы с Варичкой. Коля и Вера стали очень милы. Вера не дичится, даже кокетничает немного, а Коля важничает тем, что сделал большой вояж. Они чуть-чуть капризны: это оттого, что мама у них строга, а папа слишком балует. Если б тетя уступила немного в строгости, а дядя много в баловстве, то лучше бы детей и желать нельзя. Кроме их, нигде я не видал столько детей, как в Дрездене, и вообще в Германии. Это, я думаю, оттого, что немцы не заглядывают за пределы своей жизни, не порываются за круг своего взгляда и дела, как мы, например, и не разбрасываются во все стороны до плоскости, как французы, а делают пристально, внимательно, терпеливо и глубоко всякое дело, между прочим и детей; немки, как видно, не перечат им в

том. Маменьки переняли английскую моду водить ребятишек с голыми коленками. Тебя, мой друг, особенно когда ты сидишь с ножками на диване, я, без всякой моды, иначе как с голыми коленками и не видал.

Кланяйся деде и бабе: бабе скажи, чтоб она без опасения кушала сама и ягоды и ботвинью, а тебе бы меньше тайком совала всякой дряни из кармана. Кстати о ягодах: баба, воротясь из-за границы, рассказывала, что будто в Европе не знают ягод: неправда, мы все на улицах покупали такую землянику в Дрездене и Лейпциге, такую клубнику, какую у нас выставляют в Милютиных лавках только на показ. Тете Юнии с Алекс[андром] Павл[овичем] и Лялей поклонись, скажи, что теперь пока писать нечего, а после всем напишу. Ты теперь, я чаю, живешь уже на даче: кланяйся тетям Юлиям, а Степану Семеновичу пожми за меня руку и скажи, чтоб не ленился, а писал бы статью об "Обломове", иначе да будет он сам архи-Обломов! Деде скажи, что я всё смотрю, как в крошечных речонках ловят форелей, то есть хотят — ловят на удочку и также не-ловят, как он — окуней. Дядя Апол-

лон читал нам, немного, правда, но зато прелестных три-четыре стихотворения. Давно я не слыхал таких, особенно "Мадонна" и "Неаполитанское утро". Скоро Вы их увидите и услышите. — Если увидишь Писемских, кланяйся тоже и скажи, что если он на следующий год собирается за границу, то чтобы, кроме природного зада, заказал себе еще гуттаперчевый, а то отсидит в мальпосте и вагонах. Меня одолели немцы, не могу их видеть и слышать. Русских здесь мало, боятся войны. Золото наше в Австрии (а не в Пруссии) ходит отлично: здесь мне дают за полуимпериал около 7 руб. сер[ебром].

Мой адрес:

(par Stetin) Oesterreich.

Boehmen Marienbad.

An den Herren Johann Gontcharoff poste restante

Кланяйся дяде Леониду, Константину Аполл[оновичу] и обними братца Варичку, да береги, смотри, его.

Друг твой И. Гончаров

**Ю. Д. ЕФРЕМОВОЙ**

**1 (13) июля 1859. Мариенбад**

**13**<sup>1</sup> июля 1859 года. Мариенбад.

Сейчас получил Ваше письмо, Юния Дмитриевна, и сию же минуту спешу отвечать: доказательство — как мне приятно и то и другое, то есть и получить письмо Ваше, и отвечать на него. Вы жалуетесь на мою холодность к Вам, принимая ее как будто за личную себе обиду, даже говорите, что это заставляло Вас страдать; в заключение желаете от меня фраз, которые могут, по словам Вашим, Вас успокоить. Зачем же фраз? Это плохое средство. Не лучше ли сказать истину: в ней одной и есть успокоение, если только Вы не шутя могли беспокоиться от таких пустяков, как мое внимание, шутки, посещения? Да и нужно ли говорить истину: я думал, что Вы ее и так знаете и видите. Прежде всего несправедливо, что я охладел к Вам только: спросите Екатерину Александровну, Колзаковых, спросите самых старинных друзей, не осовел ли я вообще, гляжу ли я на кого-нибудь и на что-

нибудь так же бодро, свежо, игриво, как прежде, часто ли улыбаюсь, шучу? Часто ли, по-прежнему ли бываю у Евгении Петровны и Николая Аполлоновича? Спросите и скажете конечно: нет. Значит со мной, от лет, от опыта, от... от... и не перечтешь причин, произошло общее охлаждение. Таков уж мой характер и вся натура: я жив, восприимчив, лихорадочен и в симпатиях и в антипатиях, жил воображением, потом уходился, износился, отупел, обрюзг и чувствую от всего скуку и холод. Это холод не к Вам, не к другому, не к третьему, а всеобщий, охвативший меня холод. Но однако же я к Вам ходил, что доказал особенно летом; зимой не ходил просто по причине Гончарной улицы да еще потому, что встречал Вас ежедневно то у Стариков, то у Евгении Петровны; следовательно, видался с Вами по-прежнему, часто. Итак, Вам не доставало только визитов моих в Вашу квартиру, и Вы страдали от этого да еще от самолюбия, как сами говорите. Что же, Вы думаете, что я охладел оттого, что Вы стали хуже, что ли: надо предположить это, чтоб допустить страдание от самолюбия. Вы скажете, что я

ходил всякий день к Старикам, так отчего ж, мол, и ко мне не ходили часто? К Старикам ходил я часто потому, что в самом деле люблю их как только могу, да, кроме того, к ним удобнее ходить часто, нежели к кому-нибудь, и Вы сами знаете почему, между прочим, и потому, что с ними обоими я одинаково близок, а с Вами близок, а с Алекс[андром] Павловичем гораздо менее знаком и т. п. В последнее время дом Старика (да и прежде тоже) сделался как-то средоточием приятельских бесед: там жил Льховский, там я ежедневно обедал, жил Федор Ив[анович], приходили часто Вы, потом поселилась Анна Романовна, ходил Лёля и, наконец там же собирались Николай Аполл[онович] с Евг[енией] Петровной и образовалась привычка ходить по одной тропинке, по одной лестнице, в одну комнату. А больше куда я еще ходил, с кем был любезен, ласков, поищите-ка, и окажется, что ни с кем. Ходил, дескать, к литераторам: да это было необходимо, это своего рода служба — и некоторые общие интересы сзывали всех, и то большею частию на обеды, после которых и разлетались в разные стороны. Симпатий

тут было немного и очень с немногими.

Если Вы допустите, что лета, недуги, занятия и разные досады много изменили мой характер, то увидите, что собственно к Вам я изменился ни на волос не больше, как и ко всему другому. Я уж не смеюсь нынче, шутка с языка нейдет, и спросите откровенно Старушку, она Вам скажет, а может быть уже и говорила, что я, своим молчанием, угрюмостью, а иногда раздражительностью бывал им в тягость. Это я чувствую. Что касается собственно до Вас, то если бы кто-нибудь вздумал бросить на Вас малейшую тень в моих глазах, хоть на волос понизить Ваши прекрасные качества — я бы, поверьте, как старый и неизменный Ваш рыцарь, готов еще оживиться, вспыхнуть и найти прежний бойкий язык и за словом в карман бы не полез. Но быть веселым, любезным, разговорчивым, доказывать дружбу осязательно, по-прежнему — не смею обещать. Ослабел, опустился и хандрю. С этой стороны Вы меня не трогайте, а если хотите, пожалейте обо мне да и махните рукой. Я не живу, а дремлю и скучаю, прочее всё кончилось. Какой же дружбы и движения хотите

Вы найти в полумертвом человеке? Положение мое затруднительно, особенно между незнакомыми. Люди подходят знакомиться, а я норовлю встретить их рогами. Особенно одна московская барыня, кажется, очень озадачена: доктор нас познакомил, я дня два с ней поговорил, она было расположилась ко мне очень радушно, в одно время стала обедать со мной, а на третий день мне вдруг не захотелось говорить, на четвертый еще менее и т. д. Сначала это ее удивило, она стала изъявлять участие, я взбесился, потом, кажется, она обиделась, заметив, что я раза два своротил в сторону, а теперь уже гневается. А принудить себя — нет сил. Сначала я было хотел послать с ней детям кое-какие безделки да вам (видите, я думаю о Вас) с Евгенией Петровной по кружке из богемского стекла, но после моей любезности о том уже и думать нельзя. Но довольно об этом. Вот вам не фразы, а чистая правда. Еще более правды будет, если, положа руку на сердце, скажу, что я не стою внимания друзей.

Вы желаете мне здоровья — благодарю, не знаю, достигну ли я цели, то есть вылечусь

ли. Что касается до желания вдохновения, то это желание напрасно, оно не исполнится. Вдохновения не было, то есть не было расположения писать, но я поупрямился и начал. Вышло то, что я Вам сказал при отъезде, то есть нельзя в шесть недель обдумать и написать роман: это дерзость и нелепость. Может быть, года два-три назад и было бы возможно положить основание или окончить давно обдуманную и начатую вещь. Вглядевшись пристально в то, что я хотел писать, я увидел, что надо положить на это года три исключительной работы, при условиях свободы, здоровья и свежих, не упавших сил. И я очень рад этому, потому что теперь с меня как будто снимается обязанность литераторствовать; я кончил и вздохнул свободно, ибо где я возьму три года праздности и свежих сил? Явно, что мне мечтать об этом нечего. Притом, работая, я страшно вредил себе: сидел до бледности, до изнеможения, задав себе глупую, чиновничью работу написать хоть часть одну, как будто доклад какой-нибудь. Следствием было то, что я стал чувствовать себя хуже, чем прежде, и я бросил, решительно бросил и на-

всегда.

Вы спрашиваете, когда я свижусь с Стариками и где: да не знаю. Меня доктор непременно посылает в море купаться; я спишусь с ними и, если Екатерине Павловне велят то же самое, то, может быть, отправлюсь с ними. Здесь один зовет меня в Швейцарию, пожалуй, я и на это согласен. Мне всё равно. Но всего лучше мне хотелось бы с Стариками погулять, поездить — с ними веселее — все-таки близкие друзья, а с чужими — душу воротит прочь. Вот, если б Вы были здесь, я бы доказал Вам, как дорожу Вашей беседой, ни с кем, кроме Вас, не ходил бы гулять. А какие рощи, леса! Между прочим, у меня явилось занятие — здесь водятся змеи, и я с палкой откапываю их гнезда и уже двух казнил, и это развлечение! Весь Мариенбад — один парк, смешавшийся с лесом. Но я один и скучаю. Теперь жду с нетерпением, когда кончатся мои ванны: я опять, как свинья, валяюсь через день в грязи, а на другой день беру железные ванны для укрепления желудочных нерв, расслабленных питьем воды; для той же цели, то есть для укрепления этого расстройства, по-

сылают меня и в море. Мне осталось еще 13 ванн, следовательно, надо пробыть еще 13 дней здесь. Отвечать Вы мне сюда не успеете, а куда я поеду — не знаю. Напишите на имя Стариков, а они мне перешлют или передадут, если будем вместе. От Лъховского Виктор Мих[айлович] получил на мое имя письмо и прислал ко мне. Но оно от февраля и с мыса Доброй Надежды: он жалуется тоже на грудь, хандрит, предсказывает себе близкую смерть и очень меня опечалил. Теперь, вероятно, он на Амуре и, надеюсь, получил наши письма.

Но я пересидел срок: ложатся спать в 10 часов, а теперь половина двенадцатого, но мне хочется, чтобы письмо поспело к пароходу. Кланяйтесь Александру Павловичу и скажите, что я частенько вздыхаю о партийке. Занятие не головоломное, а время бы пролетало незаметно. Гульку обнимаю, рискуя, что она оботрется.

Кланяйтесь Евгении Петровне и Николаю Аполлоновичу, я перед отъездом отсюда напишу к ним.

Писемским и Яновским сильно кланяюсь: спросите и дайте мне знать, кончает ли Алек-

сей Феофилакт[ович] свою драму: Это занимает меня больше моего романа, потому что драма касается близко самого живого, всё и всех охватившего вопроса. Напомните ему, что в сентябре надеемся ее слышать от него всю. Спросите его, не затевает ли что-нибудь Островский? Вообще узнайте от него и напишите, что нового в литературе и о литературе. Прощайте — всегда и несомненно Ваш

И. Гончаров.

Может быть, я отошлю письмо не франкированное: я знаю, что это неучтиво, но извините, потому что почтмейстера не всегда застанешь на месте и надо кинуть письмо в ящик без марки; при том оно вернее доходит. Не платите, пожалуйста, за Ваши письма, вернее дойдут.

**А. А. КРАЕВСКОМУ**

**7 (19) июля 1859. Мариенбад**

7/19 июля 1859 г.,  
Мариенбад.

Вот уж скоро полтора месяца, почтеннейший Андрей Александрович, как я расстался, а написать нечего, ибо сижу всё в Мариенбаде, самом красивом и самом скучном уголке по образу жизни, по жителям, по образу лечения. Встают в пять часов (я в семь), обедают в час (я в четыре) и ложатся в десять (я в 12). Русских, говорят, здесь около ста сорока человек: некоторые скучны, другие забавны, третьи невозможны даже у нас, не только за границею, как, например, одна барыня. Общественных учреждений, кроме нужников, никаких нет, зато — последние расставлены в виде пирамидальных павильонов в каждом почти кусте, в каждой "тени задумчивых дриад", ибо неизвестно, кого — где застанет действие воды, а немцы и без воды исполняют эти откровения с немецкой аккуратностью и важностью. Лечение мое приходит к концу:

еще надо взять ванн шесть, между прочим, три из грязи: я уже одиннадцать взял и начал было понимать удовольствие свиньи валяться в грязи, да вот скоро кончу и поеду куда-нибудь, может быть в Париж, а если поленюсь, то проведу остаток лета в Дрездене, потому что переезды из конца в конец, без всякого любопытства, без страсти видеть новое, куда как утомительны. Доктор посылает меня к морю, но, кажется, я надую его и не поеду. Если б меня не ждала служба, так я, пожалуй, и воротился бы домой в августе, чтоб не прямо к осени приехать, но не тороплюсь, чтоб отложить удовольствие заседать в комитете как можно долее.

Стал было я пописывать, но так повредил сиденьем и пристальной работой леченью, что должен был бросить. Я вставал из-за письменного стола бледный, ходил целый день как шальной, и чувствовал шум в голове, и потому бросил; доктор испугал тем, что я могу нажать себе этим, при водах, другую сложную болезнь. Он вообще говорит, что, по сложению своему и темпераменту, я принадлежу к числу тех людей, которым нужно как

можно меньше делать дело.

Теперь я ограничил свою деятельность чтением немецких газет, притом австрийских, и нашел большое сходство в тоне брани и желчи на нас, на французов с нашими газетами во время Крымской войны. Почти одни и те же насмешки, нападки, а с перемирием вдруг оборвалось — и газеты приняли опять свой педантически-официальный тон.

Мне очень хотелось бы знать, начали ли печатать "Обломова", но, к сожалению, до приезда едва ли о том узнаю: ответить мне сюда Вы не успеете, а куда я поеду отсюда, я и сам еще не знаю. Тут на Рейне где-то Влад[имир] Майков с женой: может быть, с ними к морю стоворюсь вместе ехать, в Булонь или Диепп; если же встречу кого-нибудь из приятелей в Париже, то застряну там: мне всё равно. Поторопитесь печатанием, если можно, к началу осени: меня то и дело русские спрашивают здесь, когда выйдет отдельно, я всем обещаю в конце сентября. Хотя в лондонском издании, как я слышал, меня царапают, да и не меня, а будто всех русских литераторов, но я этим не смущаюсь, ибо

знаю, что если б я написал черт знает что, — и тогда бы пощады мне никакой не было за одно только мое звание и должность. Но как бы там ни царапали, а все-таки расходу книги это не помешает, следовательно, желалось бы видеть ее скорее в печати. — Вот теперь с удовольствием почитал бы "Отечеств[енные] записки", потому что их нет, а "С.-П[етербургские] ведомости" так и проглатывал бы. Но есть "Bohemia", есть "Bohem[ische] Presse", "Preussische Zeitung" и т. д. Что за бумага, что за печать! Мерзостные!

В Дрездене видел я Аполлона Майкова, хотел добиться, что случилось с Григоровичем, и всё не мог ничего узнать.

Здесь жара невыносимая, а я угораздился простудиться после теплой ванны; теперь у меня насморк и побаливают виски. В воскресенье хочу уехать.

Прощайте, жму Вашу руку и остаюсь  
Ваш И. Гончаров.

# Евг. П. и Н. А. МАЙКОВЫМ 7 (19) июля 1859. Мариенбад

7/19 июля.

Мариенбад.

Здравствуйте, Евгения Петровна, здравствуйте, Николай Аполлонович!

И сам не знаю, о чем буду писать к вам: так монотонна жизнь в здешнем тенистом задумчивом уголке! Больше всего, конечно, мы упражняемся здесь в том, что Вас так мучило и тревожило нынешней весной, Евгения Петровна, и чего мы, напротив, здесь всячески добиваемся. Встречаясь друг с другом на променаде, на музыке, знакомые говорят не о политике, а с участием спрашивают друг друга: "Действует ли вода?" — "Да, порядочно". — "Сколько раз" и т. д. следуют подробности о том, как действует, когда и прочее. Иной любезничает с дамой, да вдруг остановится сначала как вкопанный, потом убежит на полуслове. Вот и развлечения. Русских здесь будто бы более ста человек; я волей-неволей с некоторыми познакомился, да и не рад. Лечение

мое приходит к концу; еще надо раза три поваляться в грязи да взять три железных ванны — вот и конец.

Путешествовать мне, собственно, не хочется: ведь я ехал лечиться да бежал на лето от службы; так, вероятно, и сделаю, то есть ворочусь в Дрезден и проживу там до срока, до конца августа. В новые места, в Швейцарию или еще куда-нибудь, ехать лень; в Париже и на Рейне я уже был, следовательно, мне надо усесться на месте и отдохнуть. Разве Старик со Старушкой непременно захотят, то, может быть, поеду повидаться с ними. Доктор непременно предписывает мне ехать купаться в море: мне и того не хочется. Вдобавок ко всему, я простудился здесь после теплой ванны и чувствую усталость, сонливость да легкую боль в висках. Начал было от скуки марать бумагу, да ужасно повредил лечению постоянным сиденьем; сделались приливы и вода перестала действовать, так что я принужден был литературные затеи бросить. Конечно, к ним уже никогда не возвращусь, ибо служба и литература между собою не уживаются. Я и так изнемог в прошедшем году от цензуры и

от "Обломова".

Я получил от Юнии Дмитриевны письмо: она пишет, что вы от своей холеры освобождаетесь. Ну, я очень этому рад и от души вас поздравляю, хотя рад, что это было с вами: вам полезно, а то растолстеете не путем.

Погода здесь жаркая, но недавно, а во время перемирия стояли холода. Тишина идеальная; экипаж здесь редкость: весь Мариенбад — один парк, мешающийся с лесом. Цветы носят коробками, но я гоняю их от себя, хотя горничная моя Маргарита как-то изловчится в мое отсутствие поставить мне букет из роз или лилий. Последние так хороши, что даже мне понравились, и притом стоят гривенник штук пятнадцать. И то жалко.

Отсюда поехала одна барыня в Петербург: я было хотел послать с ней волчков Варичке, здесь очень хороши: но как я был с ними малоразговорчив, как она ни старалась расшевелить меня, даже раза два ей нагрубил, то и посовестился посылать с ней игрушки. А что Ваш Улисс, воротился ли под кров? Мы с ним преприятно провели время в Дрездене, и до сих пор это лучшая часть путешествия.

Что мои милые Женя и Варя? Получила ли Женя мое письмо? Отвечать ко мне сюда не успеете, потому что дней через шесть, надеюсь, меня здесь уже не будет, а где буду, не знаю сам.

О рыбе здесь, Николай Аполлонович, не слыхать и не видать ее: зато белок в лесу множество, всё рыжие, да еще змеенышей немало, за которыми я от скуки бегаю.

Поздравляю вас с Стариком, то есть с его именинами; я мог бы в этот день поспеть к ним в гости, если б наверное знал, что они в Швальбахе.

Кланяюсь усердно Юлии Петровне с Юлией Сергеевной и Степану Семеновичу. Как я всем вам завидую, что вы сидите там себе спокойно, в тени от жара, что вам не надо ходить по пяти часов в день, а потом не надо сидеть в душных вагонах, думать о чемоданах, о перемене денег и проч. Счастливые! Прощайте, пока, всегда ваш,

И. Гончаров.

Я собирался отнести это письмо на почту, а после обеда мне принесли Ваше письмо, Евгения Петровна; оно такое доброе, милое и неж-

ное, что мне стало как-то повеселее. Благодарю Вас за него и желаю доброго здоровья.

Ваш И. Гончаров.

**Ю. Д. и А. П. ЕФРЕМОВЫМ**  
**29 июля (10 августа) 1859.**  
**Швальбах**

**29** июля / 10 августа.[9] Швальбах.  
Вот уж где я, Юния Дмитриевна! Из Мариенбада свернул я опять в Дрезден отдохнуть после курса и прожил там полторы недели в совершенном уединении, а потом приехал сюда и второй день наслаждаюсь уединением втроем, ходим пешком и катаемся на ослах. Прошу заметить, что ни одно удовольствие у всех у нас троих не проходит без того, чтобы мы все не вспомнили и не приплели в него Вас, Льховского и Анну Романовну. Беспрестанно слышится: ах, если б они были с нами. Так, например, вчера мы втроем поехали на ослах верст за семь в развалины, при упоительной погоде, при очаровательнейших видах, тропинках — и - то и дело — восклицали от восторга (больше всего, конечно, Старушонка) и жалея, что Вас нет с нами. — Ну, кажется, это письмо должно послужить Вам окончательным доказательством, что дружба

к Вам состоит всё в том же градусе у всех нас, и Ваше самолюбие, надеюсь, совершенно успокоится.

Из письма к Майковым, которое (а также и письмо к Дудышкину) прилагаю незапечатанным, с просьбой передать им, Вы увидите, что мы намерены делать. Если вздумаете написать, то припишите о себе слова два в письме к Старикам, и я буду очень благодарен за память. Вам, Александр Павлович, жму руку и сгораю желанием покурить вместе за партией. Лялиньку целую. Прощайте.

Ваш Гончаров.

**Н.А. МАЙКОВУ**  
**29 июля (10 августа) 1859.**  
**Швальбах**

**29** июля/10 августа. Швальбах.  
Я не помню, Николай Аполлонович, чтобы я когда-нибудь писал собственно к Вам, а всё больше к Евгении Петровне или вообще в семейство Ваше писал: теперь мне вздумалось завести деятельную переписку с Вами. Надеюсь, что мы теперь с Вами другого ничего больше делать не станем, как писать друг другу письма. Для этой цели я заказал сто листов бумаги и сто пакетов: пожалуйста, сделайте то же и Вы и давайте писать раза три в неделю. Итак, это решено.

Я дня три тому назад приехал на Рейн и проник в гнездо Стариков. Местечко Швальбах прелестное и малым чем хуже Мариенбада; окрестности очаровательные, как вообще все рейнские окрестности. Мы два дня катаемся на ослах и вчера с Старушкой сделали втроем чудную прогулку к развалинам, которую, вероятно, никогда не забудем. Старушка,

разумеется, опишет Вам это лучше, а расскажет еще живее меня.

Завтра мы отправляемся отсюда вон, так как курс Старушки кончился: ей предписаны морские ванны, если она вытерпит их; мне мой мариенбадский доктор тоже непременно велел лечиться морем, находя, что у меня потрясена сильно нервная система, и притом море действует и на печень. Едем мы в Булонь-sur-Mer: это уединенное местечко, в котором не так набито народу, как в Диеппе, и не так сильно море, как в Остенде. Завтра хотим пробыть день в Висбадене, чтобы выиграть в рулетку сотни три золотых, потом поедем по Рейну до Кельна, оттуда через Брюссель — они прямо в Булонь, а я на минуточку хочу забежать в Париж разменять вексель. В Булони придется пробыть недели три.

Я нашел Старушку здоровее и бодрее, хотя еще она худа; море, кажется, должно окончательно восстановить ее, если только она выдержит купанье. Что делается у Вас? Что, Евгения Петровна, прошла ли наконец Ваша холера и кушаете ли Вы простоквашу и малину со сливками? Кушайте и не бойтесь ничего, я

за всё ручаюсь. А Вы, Аполлон Николаевич, начали ли уже наслаждаться чтением французских и немецких сочинений или еще продолжаете числиться путешественником и стоите всё по Средиземному морю? К Вам, Анна Ивановна, я толкнулся было в Дрездене, во второй мой приезд туда из Мариенбада, но мне сказали, что Вы уехали две недели тому назад.

Целую крепко всех моих милых друзей, то есть детей, а Женичку поздравляю с 3-м августа и несказанно радуюсь, что это число подарило мне такого несравненного друга.

Обо всем остальном напишет вам подробнее меня Старушка. Если вы захотите приписать мне что-нибудь, то приписывайте в их письмах: вероятно, остальное путешествие мы будем делать вместе.

До свидания — желаю вам здоровья.

Ваш И. Гончаров.

**Н.А. и Евг. П. МАЙКОВЫМ**  
**21 августа (2 сентября) 1859.**  
**Булонь**

**21** августа/2 сентября 1859.  
Сейчас только получил ваши любезные письма, Николай Аполлонович и Евгения Петровна, и искренно благодарю, что Вы подняли, Николай Аполлонович, мою перчатку, то есть решились со мною переписываться. Но не бойтесь: я не стану испытывать Вашу храбрость и спешу Вам послать *absolution complete*[10]: Вы дали образчик мужества и решимости рыцарской; испытывать Вас далее было бы употреблять во зло Ваше мужество. Будьте же покойны и не выпускайте кисти из рук: знаю, что этим способом я доставляю себе наслаждение увидеть, по возвращении, что-нибудь такое, чего Вы мне не напишете в письме. Не отрывайтесь же от Вашей работы не только для письма ко мне, но даже и для рыбной ловли. — Что касается до моего произведения, которого Вы ожидаете с лестным для меня нетерпением и на которое де-

лаете спекуляции, то увь! его нет и не будет: акт вступления в старость совершается с адской быстротой и за границу довершился окончательно. Сердце давно замолчало, воображение тоже умолкает, и перо едва-едва служит, чтоб написать дружеское письмо. Куда девалась охота, юркость к письму — Бог знает! Только писанье стало противно, скучно, и я упрямо молчу. А уж если молчу здесь, на свободе, то дома, при недосуге и заботах, и по-давно замолчу.

Мы всё еще в Булони: первые дни стояли невыносимые жары, а потом заревели штормовые ветры, которые не перестают до сих пор. Екатер[ина] Павл[овна] выкупалась один раз, но, кажется, море для нее — слишком сильное средство, и она дня три просидела в комнате, а теперь опять ничего. Потом стало холодно, и Старик тоже перестал купаться; не отстаю один я, и если б Вы посмотрели, какие стены волн обрушиваются на мою голову, Вы бы только покачали головой: что, дескать, он делает! Но я не один, со мной несколько англичан и здоровый матрос, *baaigneur*, [11] который учит, как надо встречать напор волн, бо-

ком, спиной или чем другим, и тотчас бросается помогать, когда кого-нибудь сшибет с ног.

Я взял уже десять ванн, остается столько же. Если будет всё так же холодно, Ваши уедут дня через два куда-то станции за две отсюда, на какую-то речку, где потише, потеплее и подешевле, и там дождутся срока ехать в Дрезден, то есть недели полторы. А я хочу, кончивши купанье, поехать опять на несколько дней в Париж и потом тоже в Дрезден. Хотя мы были уже в Париже, но я был еще на диете после вод, да и теперь пробуду дня три, не больше, и то смертельно боюсь, станет ли денег на проезд, а у Ваших их, кажется, еще меньше. В Париже мы пробыли всего неделю, а сколько он вытянул, проклятый! Купить ничего не купили, только пообедали очень скромно, да побывали в Луврской галерее, в Jardin de Plantes и в bal Mabille, даже в театр не заглянули. — Мы уже писали в Варшаву, чтобы около 15-го сентября нам оставили место в мальпост. Если захотите написать к своим или ко мне, то теперь уже пишите в Дрезден, poste restante. — Кланяюсь

вам обоим, Аполлону Никол[аевичу] с Анной  
Иван[овной], Лёле и Константину Аполлоно-  
вичу. До свидания. Весь ваш

И. Гончаров.

**Н. А. и Евг. П. МАЙКОВЫМ**  
**25 августа (6 сентября) 1859.**  
**Булонь**

**В**oulogne-sur-Mer.  
25 августа/6 сентября 1859.

Видите ли, Николай Аполлонович, как я исполняю принятое на себя обязательство: едва до Вас дошло первое мое письмо, как я принимаюсь уже за второе, всё из одного места. Но не бойтесь: не испишу всех ста листов и в этом письме хочу только поправить свою забывчивость. Первое письмо начато было с целью поздравить Вас со днем Вашего рождения, но заболтавшись о другом, я главное и забыл. Примите же теперь мое поздравление с таким хорошим не для Вас одних, но и для всех нас днем и со вступлением... в который год, Евгения Петровна? Я знаю, Вы скажете — в 42-ой, — так ли, Николай Аполлонович?

К этому поздравлению прибавляю я подарок — и только Вам одним, в этот раз никому больше: угадайте какой подарок? Парижский галстух! Не смейтесь, спросите Екатерину

Павловну: она говорит, что Вы непременно будете носить его и никогда не снимете, к со-блазну Евгении Петровны, не только при го-стях, но даже без гостей; в нем можно лечь спать, и он не будет в тягость: так он удобен.

Вас, Евгения Петровна, поздравляю тоже с новорожденным и жалею, что не могу в этот день присутствовать на домашнем пире у Вас; говоря о пирах, я теперь в недоумении, каким числом блюд Вы будете угощать такое сокровище, как я: дело идет уже не о мести; спросите у Ваших, по сколько блюд мы обедаем теперь в здешних отелях? Я перестал ходить в один отель, потому что там подают всего 12 кушаньев, и стал ходить в другой, где дают 15 блюд, но я слышал, что неподалеку от нас дают 18, и полагаю ходить туда.

Ваши сидят в своей комнате; Екатерина Павл[овна] начала опять купаться в море и, кажется, с успехом; Старик ходит не-ловить рыбу; дня через четыре они едут прямо в Дрезден, а я хочу на несколько дней заглянуть в Брюссель и потом поеду туда же.

Кланяюсь всем, детей целую; Женичке я купил в Париже готовое платьице, чтоб она,

по наущению бабушки, вперед уже не упрекала меня, зачем не привез ей гостинца из Парижа; а Валерке я выписал из Австрии три самых громких волчка и пистолет.

Обнимаю всех в ожидании, надеюсь, скорого и приятного свидания.

И. Гончаров.

**ГОҢЧАРОВ и Ек. П.  
МАЙКОВА — Ю. Д.  
ЕФРЕМОВОЙ**

**26 августа (7 сентября) 1859.  
Булонь**

**Е**катерина Павловна с любовью предалась более всего в Париже к изысканию средств для покупки достойного Вас черного платья и купила какую-то обворожительную прелесть за 200 франков. Она обратилась ко мне, чтобы, по Вашей просьбе, я прибавил или добавил чего недостает, а она, дескать, "Вам заплатит с благодарностью". Сначала я и слышать не хотел, ибо берег деньги на два подарка: Вам и Ляле; но, увидев эту прелесть, решил, что лучшего подарка сделать нельзя и что грех из моей фантазии лишить Вас этой прелести. Поэтому, Ю[ния] Д[митриевна], я исполнил Ваше желание, то есть добавил половину денег, но если Вы когда-нибудь заикнетесь об отдаче их мне, то даю Вам слово, что с того дня я перестаю навсегда видеться с Вами. До свидания, надеюсь, до сентября. — Кланя-

юсь Александру Павловичу.

Весь Ваш

И. Гончаров.

Булонь.

26 авг[уста]/7 сент[ября].

Что делается с А[нной] Р[омановной], приехала ли она из деревни? Наши тоже, верно, будут уже в городе, когда получится это письмо. Здесь опять началась предурная погода, и вот третья неделя, а я еще на 6-ой ванне и не знаю, возьму ли 10, так как опять очень холодно. Что дети? Стеснят они маменьку на новой квартире, но скоро мы приедем, писали, чтобы нам оставили место в Варшаве на 15-е сент[ября], тогда будем 20-го, а то если на 18-е, то 23. Если увидишь А. И., передай ему самый искренний, самый дружеский поклон от нас. Скажи А[нне] Р[омановне], чтобы не вздумала покупать себе зимнего коричневого платья, а то у нее окажется их два. А я сильно стою за то, чтобы у нее было опять коричневое платье; уж я знаю почему.

[Ек. П. Майкова].

А. Ф. ПИСЕМСКОМУ

28 августа (9 сентября) 1859. Булонь

28 августа/ 9 сентября 1859. Булонь.

Я только что из моря вылез, любезнейший Алексей Феофилактович, и дрожащей от холода рукой спешу отвечать на Ваше приятное послание. Давно бы я и сам написал к Вам, если б нынешнее странствие мое представляло хотя малейший интерес. Но нет ничего: в Мариенбаде я прожил пять недель, потом воротился в Дрезден, наскучило там — поехал на Рейн, там нашел Майковых и оттуда отправился в место злчное и покойное, в Париж, ибо мариенбадский доктор уверил меня, что после мариенбадской воды, расслабляющей желудочные нервы, нужно укреплять их или железными водами, или морем, или, наконец, веселым житьем в большом городе, с хорошей едой, с хорошим вином: я выбрал было последнее, но схватил в Париже жестокую холерину и должен был приехать вот сюда, к морю. Уж не знаю, против чего укрепляться мне: разве против сплетен известного нашего общего друга, да нет, ни море, ни расстояние не спасают. Читая некоторые статейки в одном издании, направленные против людей, звуков и форм, и узнавши, что друг побывал в

Лондоне, я сейчас понял, откуда подул ветер.

В Париже я встретил — никак не угадаете кого — Григоровича! Мне хотелось знать, что с ним случилось на корабле, и я потащил его в нашу отель обедать. Он мне рассказывал пространную и подробную историю, но так рассыпался в подробностях, что я никак не мог сделать общего вывода о том, почему он удалился оттуда: по смыслу его рассказа выходит, что он якобы был очень либерален.

О поручении писать для матросов он мне что-то рассказывал, но я забыл. Живет он там у Дюма и в настоящее время уехал тоже к морю купаться, и не один, а с какой-то девочкой; у него завелся там роман, который он сейчас же за столом и рассказал нам всем троим, в том числе и Е. П. Майковой. Потом мы хотели показать ей, как бесятся французы, и возили ее в Елисейские поля, куда он нам сопутствовал. Потом я отдал ему визит, но не застал дома. Но о нем поговорим поподробнее при свидании, а теперь Бог с ним! Есть нужнее кое-что сказать Вам.

Я виделся в Париже с Деляво и беседовал с ним часа два. Он поручил мне передать Вам,

что он "давно изготовил статью о Вас и отдал в редакцию "Journal des deux mondes", также не раз напоминал, что пора бы ее пустить в ход, но сам хорошенько не знает причины, почему они ее держат, а догадывается, что редакторы, встретивши там сильные и резкие описания русской администрации, нравов и проч., должно быть, не решаются печатать ее по нынешним отношениям Франции с Россией, чтобы не навлечь на себя замечания своего правительства". Вот приблизительно смысл его слов, и я передаю их сколько могу точно. "Il parait, que les r̄idacteurs sont gagn̄s ce moment-ci par le m̄me esprit d'autorit̄ de censure"[12], - прибавил он. Так ли это или нет, не знаю я; слушая это, думал было сначала, нет ли и тут немножко нашего общего друга, однако из дальнейших слов его видел, что он понимает его как следует. Я рассказал Деляво, сколько Вы нам прочли Вашей новой драмы, и сильно задел его за живое, равно как и рассказом "Воспитанницы" Островского. Последнюю он, как уже вышедшую в свет, хотел бы уже перевести, но у него нет "Библиотеки для чтения". Между прочим, я возбу-

дил его жажду познакомиться покороче с Островским, благо он весь появился теперь в печати, и он весьма просил меня прислать ему экземпляр, что я и обещал сделать чрез Николая Петровича Боткина, который едет туда в конце сентября из Москвы. Но как я не знаю, застану ли я Боткина в России, ибо буду там не прежде 20-х чисел сентября, то не возьмете ли Вы на себя труд, Алексей Феофилактович, с поклоном от меня передать просьбу Деляво прямо Островскому, который мог бы лично передать Боткину экземпляр своих комедий для доставки в Париж, и особенно если б присоединил и оттиск с "Воспитанницы". Особенно Деляво понравилась сама мысль о воспитанницах и о благодеяниях Уланбековой.

Что касается до Вашей драмы, то не судить собираюсь ее, а наслаждаться ею; до сих пор она ведена удивительно по силе и по естественности; мне кто-то тогда же сказывал, что в конце у Вас будто бы предположено разбить голову ребенку взбешенным отцом: не переиначено ли это как-нибудь? Если же это в самом деле так, то извините мою откровенность, если скажу, что это сильное и, пожа-

луй, весьма быть могущее и, конечно, бывающее окончание подобного дела все-таки не может быть допущено иначе и в натуре как исключение (примите в соображение общий характер отношений наших крестьян к господам: этого не надо отнюдь выпускать из вида, особенно в искусстве), а искусство непременно задумается и оробеет перед этим. Но опять-таки поспешу прибавить, это не будет чересчур противно и даже, может быть, примется одобрительно при последнем современном направлении литературы. Я, как старый литератор, может быть, гляжу на это очень робко, но это мое личное мнение, и я за него не стою горой. Однако я боюсь цензуры — за драму, разве Вы сделаете уступки.

Сам я сначала принялся было писать, но повредил так леченью, что у меня и в Петербурге не было такого зелено-желтого лица, как там, я и бросил в самом начале. И добро бы была коротенькая вещь, а то опять машина: да уж и пора мне бросить, не то теперь требуется, это я понимаю и умолкаю. Кланяйтесь Дружинину, скажите, что в Италию ни за что не поеду; жажду видеться с ним.

Екатерина Павловна Писемская, верно, велела кланяться мне, а Вы ни слова: поручил бы Вам поцеловать ее за меня, да нет, Вас на это не уломаешь! Здоровы ли разбойники? Что рука Павла? До свидания!

Ваш И. Гончаров.

**Ю. Д. ЕФРЕМОВОЙ**  
**28 августа (9 сентября) 1859.**  
**Булонь**

Булонь, 28 августа / 3 сентября, 1859.

Ваше милое письмо, друг мой Юния Дмитриевна, я получил сегодня утром, и вот лениво-борзое перо чертит уже ответ. Не далее как сегодня утром вложил я в письмо Екатерины Павловны к Вам крошечную записку, и когда с Стариком понесли ее на почту, там лежало уже письмо от Вас и от Писемского. В той записке я извещал Вас о покупке Вам Екатериною Павловною отличного платья в Париже и запретил думать о возвращении мне половины употребленных мною на то денег, что и подтверждаю и здесь. А если Вы будете перечить, то я Вас и знать не хочу. Мне хочется, чтоб половина платья, и именно та половина, которая будет облекать самые лучшие и нежные части Вашего тела, была мой подарок. Но об этом разговаривать больше нечего, это дело решенное, только как провезут они платье через Бельгийскую и Прусскую таможен-

ни? Впрочем, мало смотрят. — Мы сейчас из моря: я, выкупавшись, пошел посмотреть, как baigneur,[13] матрос с Каратыгина ростом, взял на руки Старушку и, как куклу буквально, понес пополоскать в пене; у нее ноги болтались на воздухе, а сама она, как монашенка, одета в какой-то рясе. Я купался в десяти сажнях от них и, говорят, очень похож на стыдливую Венеру, особенно когда сзади нагнал меня вал, сшиб с ног и сбил с меня sale(on).[14] Дня через три они уезжают в Дрезден, а я в Брюссель, делать больше нечего, да и денег у них нет совсем, а у меня очень мало. Их трое, и переезды втроем уносят много капиталов. Вы всё говорите о моей дружбе: но я считаю ее, да и не один я, а многие... такую дрянью, что и предлагать ее совещусь, следоват[ельно], обещать ничего не могу, а то, что Вы уже имели с моей стороны, то, можете быть уверены, останется в Вашем распоряжении до моей смерти включительно. Вы более нежели кто-нибудь, имели бы право на мою дружбу — по Вашему характеру и сердцу, и я бы Вас просил принять ее, если б ставил ее во что-нибудь и если б, главное, давно не пере-

стал верить во все те мечты, которыми играют люди от праздности, скуки и неведения о том, к чему всё ведет и чем разрешаются все ваши земные дела.

Кажется, мы все здоровы, может быть и от моря; что бы Вам послать сюда Павла Демидовича: он бы поправился и посвежел еще на много лет. Жаль, если это буффонское письмо придет в такую же минуту грусти, под влиянием которой, по-видимому, Вы писали ко мне. Но потерпите, кажется, судьба устанет жать Вас и обдаст Вас за Ваше терпение (это моя дружба к Вам шепчет мне) такими лучами, такими волнами радости, обилия, что... просто ну, да и только! Авось мы погуляем с Вами за границей: хотелось бы! Видите, и я надеюсь.

Я адресую письмо к Писемскому на Ваше имя: передайте ему, а если его нет в городе, он говорит, что уедет к Тургеневу, то подержите до его приезда и тогда отдайте.

Кланяюсь Вам обоим, целую Юночку и постараюсь привезти ей из Дрездена куколку или что иное, она такая милая, умная и, сколько я заметил, послушная и скромная, хо-

тя воспитана и не в строгих руках, только иногда гримасничает немного. Вчера я писал к Николаю Аполлоновичу.

Весь Ваш

И. Гончаров.

**А. Н. МАЙКОВУ**  
**7 (19) сентября 1859.**  
**Дрезден**

Дрезден. 7/19 сентября  
Вы всё обвиняете себя в обломовщине, любезнейший Аполлон Николаевич, и я было подался на это Ваше самоубиение, как вдруг последовал от Вас заказ панталон за границей! Да разве это по-обломовски! Или если вы Обломов, то уже новейший, развращенный Обломов. Но как бы то ни было, а штаны заказаны, и притом самые блестящие, лучше и дороже каких в Дрездене нет, и при всем том не превышающие 11 талеров! Но что за франт будете Вы — в пределах от Садовой до Невского проспекта включительно, но до Аничкова моста только, то есть до тех пор, где прогуливается Панаев: с ним все-таки вы соперничать не можете.

Прочли мне Старики Ваш милый отзыв об "Обломове", и мне сие приятно.

Здесь теперь Сологуб с женой: у него, кажется, пять или шесть литературных замыс-

лов. Он пишет роман, пишет русскую комедию в 5 актах, написал франц[узскую] комедию, пишет еще какие-то статьи и даже хочет поселиться в Дерпте, чтоб исполнить свои замыслы.

Мы, то есть Старики и я, 10 сентября в четверг едем в Варшаву, где нас ждут места в почтовой карете на 15-е сентября, следоват[ельно], числа эдак 20-го Вы нас получите, если не случится с нами чего-нибудь предосудительного. И писать бы не следовало, но пишу так, больше от праздности.

Кланяйтесь родителям, поцелуйте мать Ваших детей и детей Вашей жены. Кланяйтесь Писемским: получил ли он мое письмо из Булони?

Ваш И. Гончаров

Старики теперь в галерее: Екатер[ина] Павл[овна] после моря заметно укрепилась, только всё зябнет, да здесь и холодно. А едим мы много.

**А. В., Е. А. и С. А.  
НИКИТЕНКО**

**20 сентября (2 октября) 1859.  
Варшава**

**В**аршава, 20 сентября / 2 октября.

С некоторою кислотою в желудке и с бодрым сердцем вшел в пределы отечества.

Да постелется и Вам, высокосановный, глупоумный и горячесердечный друг мой, Александр Васильевич, так же гладко и покойно путь досюда, как постлался он мне! На пути никаких препон, задержек и ошибок не было, кареты славные, станции удобные и местами роскошные, подкрепление сил (радуясь, о непроходимый...) свежее, вкусное и обильное.

Благословенный Ф. Ф. Коберский никакой надежды на ускорение Вам пути в Петербург не подал, ибо, говорит, бывают нередко случаи, что отказываются один или двое от своих мест, но чтоб целая карета вдруг отказалась — это редко бывает, даже почти никогда. Следовательно, Вам остается вооружиться

немецким терпением и подождать до 1-го или 2-го октября нашего стиля, чтобы 3-го вечером быть здесь, а 6-го выехать. Если б Вы захотели уехать одни вперед, то напишите к Фед[ору] Фед[оровичу], он, кажется, местом для одного не затруднится. Я застал его обремененного делами, окруженного миллионами казенных денег. Но и тут он, по обязательности и вежливости своей, нашел возможным уделить мне четверть часа. Письмо Ваше он положил в карман, сказавши, что прочтет дома. Он очень жалел, между прочим, что не успел написать мне, чтобы я привез ему заграничный перевод Библии на русский язык, и я жалею, что не знал этого в Дрездене: если б там нашел, то купил, провез бы как-нибудь, хоть в руках, и подарил ему. Вас этим обременять нечего, у Вас и без этого куча вещей.

Теперь научу Вас кое-чему полезному.

В Дрездене берите билеты прямо до Сосновице: там уже навыкли и Сосновиц с Мысловицами не перепутают. Это избавит Вас от новых хлопот в Бреславле, где Вам будет оставаться хлопотать только о том, чтоб подкрепиться чашкою кофе. (Билеты II класса по 9

тал[еров] 19 гр[ошей] до Сосновиц, а в Сосновицах вновь берете билеты прямо до Варшавы по 6 р. с чем-то во 2-м классе). Там можно давать даже за билеты бумажными и серебряными талерами прусскими. Золото берегите, ибо здесь является к приезжим презренный еврей и дает по 35 коп. на каждый золотой, то есть по 5 р. 50 коп. всего.

Помните, что в Кольфурте надо пересесть в другие вагоны. На это дается полчаса. Вы приедете туда между 3 и 4-мя часами утра, а между 5 и 6-ю часами в Бреславль, где сказали, что остаются час, а остались полчаса. В Кольфурте спросите сырой ветчины, Софья Александровна: ветчина превосходная и кофе хорош. В Бреславле советую подкрепиться, ибо оттуда до Котовиц остановки нет, а в Котовицах (в 12-м часу) Вы выходите из вагонов, которые едут в Мысловицы и Краков, а вы, подождав полчаса, едете в Сосновицы, куда прибудете через 10 минут, ровно в 12 часов. Казимире Казимировне не худо бы хорошенько подкрепиться в Котовицах, так как в Сосновицах она будет занята показыванием сундуков в таможене. В Котовицах и буфет лучше. Впро-

чем, в Сосновицах остаются с 12 до 2-х часов, а досмотр вещей и передача их опять на новую дорогу оканчиваются в полчаса, следоват[ельно], Вам остается полтора часа свободного времени, так что беспощаднейший может подкрепиться до отвала.

В Сосновицах я предупредил о Вас, и Ваше имя записали. Со мной поступлено было вежливейшим, благороднейшим образом, так, вероятно, поступлено будет и с Вами. А Вы, Алекс[андр] Вас[ильевич], увидя управляющего таможни, благообразного черноволосого и смуглого мужчину, подступите к нему и спросите, давно ли я проехал и не напоминали ему о Вас, и назовите себя. Но вот совет необходимый: не завертывайте ничего в печатные листы; у меня были завернуты в газетную бумагу лежавшие сверху сапоги и туфли: досмотрщик все листы вытащил и разорвал. Вероятно, отдано строгое приказание насчет заграничных русских газет, а он рвет уж кстати и иностранные.

Как только сундуки Ваши запрут, сейчас же спешите в кассу и берите новые билеты и потом в багажную — для передачи вещей. Тут

досмотрщикам мне не пришлось ничего и давать, а дал я несколько немецких грошей тем людям, которые таскали, отпирали и запирали мои вещи, я выбрал одного, а Вам надо взять двух или трех, да чуть ли их и всего не трое.

Помните, что польский грош равняется русской полукопейке; Вам будут давать сдачи грязненькую монетку с цифрою 10: это наш пятачок. Другой мелочи нет здесь.

Впрочем, в Сосновицах и талеры в большом ходу.

Жиду я скажу, чтоб он явился к Вам променять золото, когда Вы приедете.

В Варшаве, когда приедете на станцию, ухватитесь за одного комиссионера и скажите ему, что дадите ему рубля, чтоб он, во-1-х, сейчас же удержал для Вас два экипажа, куда посадив могущих ехать вперед, отправьте их в Европейский отель, а сами сядьте в другой экипаж и отдайте комиссионеру билет на вещи, сказав, сколько их числом. Он (или они — вам нужно двоих-троих) принесет всё к экипажу (можно оставить и до утра). Такса положена от железн[ой] дороги до гостиницы ве-

чером, кажется, по 60 и даже по 45 коп., да им дают на водку. В гостинице теперь пока еще множество мест: мне дали комнату parterrie, [15] и большую, за 1 р. 20 коп. в сутки; обед в 3 часа стоит 60 коп. с человека, а в 5-ть рубль. Чаю полная порция с маслом и проч. 30 коп. (имейте свой и спрашивайте только горячую воду), что-то дешево: я боюсь, не умышляют ли здесь извлекать у меня деньги более простым способом: помимо меня, прямо из чемоданов!

Европейский отель все-таки лучший, по чистоте и порядку.

При выходе из дебаркадера имейте паспорта в руках, ибо их отбирает полицейский чиновник, а по приезде в гостиницу спросите паспортмейстера и предупредите, что паспорт нужен будет Вам 5-го числа, то есть накануне Вашего отъезда, для отсылки на почту. Вещи на почту надо доставить 6-го октября в 8 часов утра, так как Вы едете с экстра-почтой, в 9 часов утра. Этому паспортмейстеру что-то платят, кажется, рубль, со всеми издержками.

Есть даже в гостинице какое-то лицо, заве-

довающее и театральными билетами: так что я сегодня изъявил желание идти в "Трубадура". Сейчас же явился господин, который через полчаса принес мне билет, разумеется, с увеличением платы.

Ну, кажется, я не оставил ни одной подробности, чтобы уладить Вам путь, и если он не будет гладок, то уже значит — таковы неисповедимые судьбы!

Экстра-почта устроена так, чтоб поспевать к утреннему воскресному поезду в Острове и быть вечером в Петербурге. Не знаю, удастся ли так мне?

За все доставленные Вам сведения желаю следующего вознаграждения, за каковым и обращаюсь к Екатерине Александровне.

Екатерина Александровна! Благоволите занять у тятеньки 3 талера и с свойственною Вам локомотивною быстротою устремиться по Schl(esserstrasse, и, дойдя до № 18, против ворот дворца, купить в магазине такую же гравюру (а не фотографию и не литографию) "Mater dolorosa" Салимена, какую я подарил Софье Александровне, и облагодетельствуйте, привезя мне ее в Петербург. Я потому смею

беспокоить Вас, что на полке всё равно везти что одну, что две гравюры, следовательно, это Вас не обременит. Три талера, в виде трех рублей, будут с благодарностию возвращены в Питере.

Тут по дороге пойдете мимо нашего знакомого жида: обегите, о, обегите его: это удав.

Кажется, уже всё сказано, и мне остается только позавидовать, что Вы еще посидите под каштаном, у здоровенького Кельнера[?], слушаете штраусовых вальсов и, может быть, попользуетесь теплом. Здесь холодно-вато.

Если бы случились на мое имя письма, прошу взять их с собою.

Затем кланяюсь усердно, благодарю за эти так мирно, весело, тепло и хорошо (как никогда уже не будет хорошо) проведенные с Вами всеми три-четыре месяца и остаюсь

всегда Ваш

И. Гончаров.

Беспримернейшего целую и осеняю бородой, а ему поручаю облобызать за меня божественную.

M-me и m-lle Ильинским мой поклон и со-

жаление, что так мало провел времени в их обществе.

**А. Ф. ПИСЕМСКИЙ и И. А.  
ГОНЧАРОВ — А. Н.  
ОСТРОВСКОМУ**  
**Начало ноября 1859 г.,  
Петербург**

**Л**юбезный друг, Александр Николаевич!  
Не знаю, не рассердишься ли ты на случившуюся перемену. В ноябрьской книжке вместо твоей драмы должна была пойти моя. Произошло это вследствие таких обстоятельств: министр, как ты знаешь, взявший на себя пропуск моей драмы, дал мне знать, что я печатал бы ее сейчас же; в противном же случае, очень может статься, что власть его будет недействительна, потому что в самом непродолжительном времени цензура отойдет от Министерства народного просвещения и образуется новое управление, совершенно отдельное, под верховным начальством барона Корфа (автора восшествия на престол Николая I-го). В это же управление, говорят, войдут Иностраннный цензурной комитет и театральная цензура. Во всем сим в конце письма

тебя удостоверит и Иван Александрович! Что касается до твоей пиэсы, то это никоим образом, кажется, [не] повредит ей: чем долее ее не печатают, тем выгоднее для ее сценической обстановки, и ты очень бы нас обязал, если бы позволил оставить ее до генваря, ибо хотя мы и будем иметь Щедрина, то тебя печатать в декабре, то есть для старых подписчиков, а Салтыкова в генваре для новых подписчиков, безумно нерасчетливо! Если ты согласен на это, то уведошь меня, и, еще раз повторяя эту просьбу от себя и от Александра Васильича, остаюсь душевно тебе преданный

А. Писемский

P. S. Кроме того, от Салтыкова еще не получена, и только рассчитывая на его аккуратность, я пишу, что мы будем иметь его повесть. Пиши ко мне прямо на квартиру: на Садовой, в доме Куканова, против Юсупова саду.

Драма твоя совсем уже начисто отделана, пропущена цензором, и первые листы даже отпечатаны.

Если почему-либо тебе непременно нужно, то мы драму поместить [можем] и в декабрьской книжке, но нам гораздо лучше сохра-

нить ее до генваря.

И я свидетельствую, почтеннейший Александр Николаевич, о крайней необходимости, по которой нужно было дать место драме Писемского в нынешнем месяце. Я в большом горе, что никак нельзя мне было послушать Вас самих: со всех сторон слышу восторженные отзывы, а когда теперь придется прочесть драму? Через месяц, да еще прочтешь сам, а не услышишь автора?

Усердно кланяюсь Вам. Искренно преданный

И. Гончаров.

# Н.А. ГОНЧАРОВУ

## 16 ноября 1859. Петербург

**И**звини, любезнейший брат Николай Александрович, что долго не отвечаю на твое письмо: дела так много, что едва нахожу свободную минуту.

Ты, между прочим, спрашиваешь, нужно ли печатать отрывки из моего путешествия в "Симбирских Губернских Ведомостях": лучше бы не печатать, потому что у меня в контракте с Глазуновым сказано, что я не вправе позволять никому перепечатывать или извлекать из путешествия отрывков до известного срока: конечно я прав потому, что позволения я не давал, но если он узнает, что редактором ведомостей родной мой брат, то может подумать, что перепечатка делается с моего согласия. Впрочем, как хочешь, беда небольшая. Ты спрашиваешь о моем новом романе и говоришь, что к тебе обращаются с вопросами, а ты ничего-де не знаешь. Да я и сам ничего о нем не знаю, потому что его нет: так ты и отвечай, когда будут спрашивать.

Саша твой писал ко мне, но я еще не успел ему отвечать; как найду свободную минутку, так и напишу...

Экземпляры "Обломова" тебе и сестрам пришлю, как только будет время; если продлится срок, не пеняй: человек у меня один и рассылать на почту некого; поручу кому-нибудь из книгопродавцев.

Ты спрашиваешь, поправился ли я здоровьем за границей: да, весьма, даже помолодел на вид, все это говорят, но здесь опять работа, заботы, суета, неприятности начинают истощать запас здоровья. Ревматический мигрень прошел — могу сказать — от морских купаний в Булони. Прощай, спешу прогуляться — и за работу.

Будь здоров и уверен в моей дружбе.

Брат твой И. Гончаров.

# М.А. КОРФУ

## 2 декабря 1859. Петербург

Ваше Высокопревосходительство.

Сегодня я уже опоздал воспользоваться данным мне позволением являться около 11 часов к Вам для личных объяснений. Давно бы я сам искал этой чести, если б не боялся беспокоить Вас, ибо знаю, каким и скольким заботам посвящено Ваше время. Кроме того, я ждал от переплетчика книг, которые желал представить и представляю лично, и на принятие которых Вы изъявили благосклонное согласие.

Теперь прошу покорнейше дозволения перейти к вопросу о назначении цензоров. Если Ваше Высокопревосходительство сами изволите удостоить меня наставлений на этот счет, я не позволю себе протестовать даже мысленно, ибо буду уверен, что выбор Вами оправдается. Но Вы вновь изволите отклонять от себя эту заботу, ограничиваясь передачей мне списка кандидатов.

Все они являются и ко мне и ставят меня

также в затруднение, ибо я никого из них, кроме г-на Добровольского, лично не знаю. Этот последний умен, знает хорошо состояние и ход как литературного, так и цензурного дела; у него один недостаток: форменность и излишняя робость, происходящие от запуганности и нерешительного положения, в котором находились и литература, и цензура. Но от этих недостатков он может освободиться и, как умный человек, установится на той точке и взгляде, которые Вашему Высокопревосходительству угодно будет нам указать.

Прочие же наименованные в письме лица мне неизвестны, но на частные мои справки о них я мало слышал хороших отзывов, не исключая и гг. Тихомандритского и Игнатовича. Только об одном г-не Воронове все единогласно говорят одно хорошее. Если бы Ваше Высокопревосходительство позволили на первый раз ограничиться выбором этих двух лиц, а третью вакансию (мою, если я буду утвержден) оставить в резерве, предоставив временно занимать ее секретарю комитета г-ну Загибенину, человеку умному и образованному, как предоставил это теперь ему Е[го]

В[ысокопревосходительство] Евграф Петрович, то можно было бы впоследствии, не торопясь, приискать надежное лицо, имеющее эти качества, которых отчасти, должен я откровенно сознаться, комитету, при настоящем его составе, недостает.

Я знаю, что в рекомендации г-на Игнатовича участвует сам министр: я не только не смею отказать ему, но, по глубокому моему уважению и симпатии к Евграфу Петровичу, готов понести и неудобные последствия от этого назначения, но, может быть, Его Высокопр[евосходительство] не очень дорожит этой рекомендацией, тогда бы я осмелился повторить свою просьбу оставить мою вакансию до времени незамещенною. Большая часть из рекомендованных лиц отдаляются от литературы, особенно современной, бездна лет и старых понятий: таков слух о них. Возможно ли будет установить их на новой, современной, согласной как с видами Правительства, так и нынешней литературой, точкой зрения?

Повергая это мое мнение на благоусмотрение Вашего Высокопревосходительства, я бу-

ду ожидать дальнейших приказаний.

В заключение беру смелость довести до Вашего сведения, что настоящее Начальство мое разрешило мне отлучиться завтра на неделю в Москву: испрашивая позволения на эту поездку у Вашего Превосходительства, долгом считаю присовокупить, что если б Вы изволили найти эту отлучку почему-либо неудобною, то я готов отменить ее.

С глубоким уважением и преданностию имею честь быть

Вашего Высокопревосходительства  
покорнейшим слугою

Иван Гончаров.

2 декабря 1859.

**М.А. КОРФУ**  
**2 декабря 1859. Петербург**

**В**аше Высокопревосходительство.  
Вопрос о моем отъезде в Москву окончательно должен решиться завтра утром: во всяком случае спешу выразить пред Вами искреннюю благодарность за разрешение мне поездки. Приказания Ваши относительно свидания с г-ном Соболевским буду иметь честь исполнить в точности.

Если, по обстоятельствам, я должен буду отложить свой отъезд, то немедленно явлюсь довести о том до Вашего сведения.

Приношу глубокую благодарность за одобрение моего мнения относительно выбора цензоров.

С глубоким уважением и преданностию имею честь быть

Вашего Высокопревосходительства  
покорнейшим слугою  
Иван Гончаров.

2 декабря 1859.

# Примечания

# 1

глупым самодовольством (фр.)

[^^^]

## 2

скачке с препятствиями (фр.)

[^^^]

"Рогоносец" (фр.)

[^^^]

цветочница (фр.)

[^^^]

# 5

Непринужденность (фр.)

[^^^]

Окончание письма утрачено. — Ред.

[^^^]

# 7

Пусть будет стыдно тому, кто об этом плохо подумает (фр.).

[^^^]

В автографе ошибочно: "мая". — Ред.

[^^^]

В автографе ошибочно: "29 августа / 10 июля". — Ред.

[^^^]

**10**

полное оправдание (фр.)

[^^^]

служитель при купальне, банщик (фр.)

[^^^]

Похоже на то, что редакторы сейчас одержимы духом преклонения перед цензурой (фр.)

[^^^]

служитель при купальне, банщик (фр.).

[^^^]

aeunuu, o?onu (o?.).

[^^^]

на первом этаже (фр.)

[^^^]